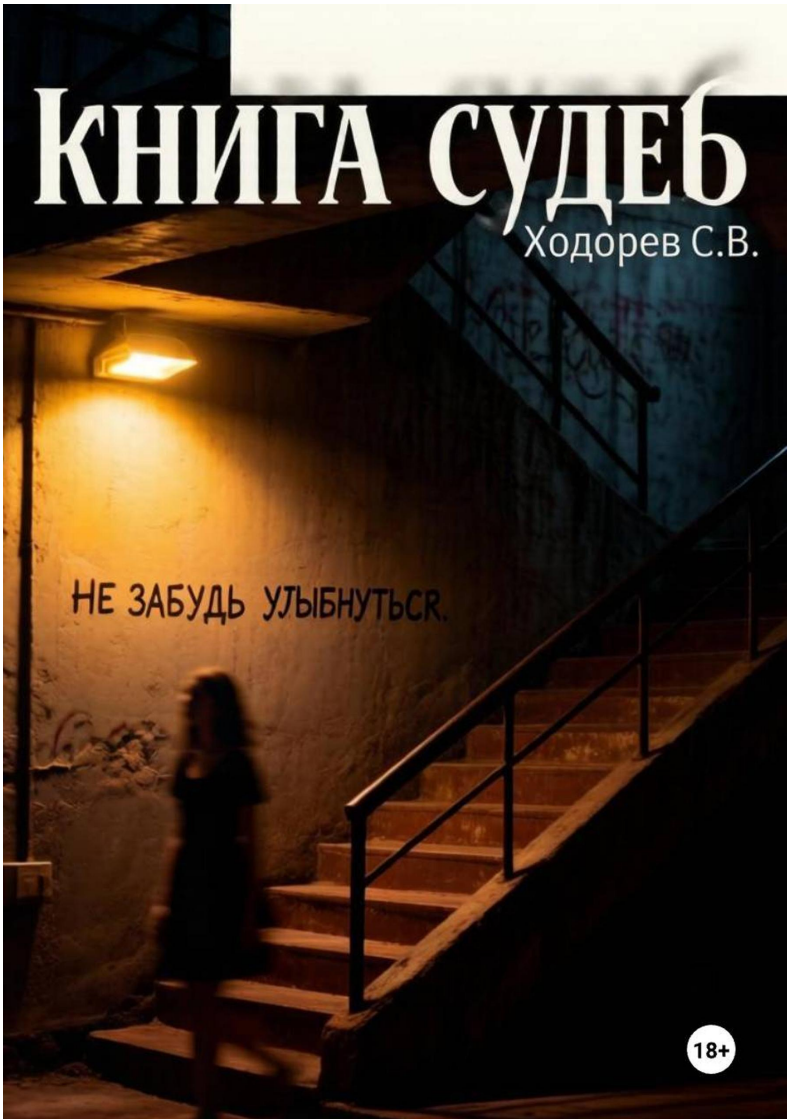
Книга судеб

Ходорев С.В.



Сергей Ходорев
Книга Судеб

https://litres.ru/74717212
SelfPub; 2026

Аннотация

Эти истории я не придумал. Я их видел.

Вера — девочка из дома, где на холодильнике каждый день появлялись записки: «Веруль, суп в кастрюле, я тебя люблю». Один вечер в чужой тёмной комнате — и она едет ночной «девяткой» с тонированными стёклами туда, откуда не возвращаются прежними.

Двое на лавочке — любовь длиной в тридцать лет: через сроки, этапы, запретные свидания и «Ты мне — никто».

Старики в белой палате — он лежачий, она приходит каждый день. «Он мой. Вот и всё» — и больше не нужно слов.

Я не прошу жалости. Я прошу, чтобы таких людей наконец заметили.

Если ты ждёшь красивой истории с хорошим концом — её здесь не будет. Будет правда. Горькая, неровная, настоящая. И пока в человеке тлеет огонёк — он жив.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 9
Пролог. Тёмные стёкла 9
Глава 1. Девочка с косичками 17
Глава 2. Кислотные заколки 26
Глава 3. Органайзер с ручкой 33
Глава 4. Тусовка 41
Глава 5. Портвейн 49
Глава 6. Зверь 53
Глава 7. После 57
Глава 8. Бег 61
Глава 9. Тень 72
Глава 10. Живот 77
Глава 11. Девочка 84
Конец ознакомительного фрагмента. 87

Сергей Ходорев
Книга Судеб

КНИГА СУДЕБ
истории, которые Сергей видел

Ходорев С. В.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЕРА
Пролог. Тёмные стёкла
Глава 1. Девочка с косичками
Глава 2. Кислотные заколки
Глава 3. Органайзер с ручкой
Глава 4. Тусовка
Глава 5. Портвейн
Глава 6. Зверь
Глава 7. После
Глава 8. Бег
Глава 9. Тень
Глава 10. Живот
Глава 11. Девочка
Глава 12. Больница

Глава 13. Рождение
Глава 14. Пустота
Глава 15. Подпись
Глава 16. Другая
Глава 17. Зеркало
Глава 18. Чужая комната
Глава 19. Сетка
Глава 20. Трава
Глава 21. Вокзал
Глава 22. Волчонок
Глава 23. Облава
Глава 24. Побег
Глава 25. Кафе
Глава 26. Дача
Глава 27. Утро
Глава 28. Квартира
Эпилог

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЦВЕТЫ НА ЛАВОЧКЕ
Глава 1. Тишина после
Глава 2. Мальчик, который читал Дюма
Глава 3. Веранды
Глава 4. Портфели и весы
Глава 5. Фотографии на стене
Глава 6. Духи
Глава 7. Подъезд

Глава 8. Одна ночь
Глава 9. Вечера
Глава 10. Ступени
Глава 11. Помощь
Глава 12. Катя
Глава 13. Новый год в подъезде
Глава 14. Пропасть
Глава 15. Валентин
Глава 16. Охотница
Глава 17. Весна
Глава 18. Седьмое марта
Глава 19. Утро
Глава 20. Лавочка
Глава 21. После
Глава 22. Каждый год
Глава 23. О такой любви

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПОВЕРНУТЬ НЕКУДА
Парк
Глава 1. Кухня
Глава 2. Молодая
Глава 3. Знакомство
Глава 4. Штопка
Глава 5. Первый срок
Глава 6. Письма
Глава 7. «Всё будет хорошо»

Глава 8. Всё дальше
Глава 9. Третий срок
Глава 10. «Последний раз»
Глава 11. Зал суда
Пятнадцать лет
Глава 12. Дорога домой
Глава 13. Первая передача
Глава 14. Дочь
Глава 15. Этапы
Глава 16. Чужие голоса
Харпы
Глава 17. Дома
Глава 18. Тетрадка
Глава 19. Харпы
Глава 20. Дорога
Глава 21. Свидание, которого не должно было быть
Глава 22. «Ты мне — никто»
Возвращение
Глава 23. Обратно в изолятор
Глава 24. Сухие слёзы
Глава 25. Сын
Глава 26. Годы
Глава 27. Звонок

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ТИШИНА В БЕЛЫХ ПАЛАТАХ

Глава 1. Шесть коек
Глава 2. Тётя Оля
Глава 3. «Он мой»
Глава 4. Минуты слабости
Глава 5. Ночная палата
Глава 6. Чужие жёны
Глава 7. Пятьдесят лет
Глава 8. «Не похож на уголовника»
Глава 9. Про судьбы
Глава 10. Крест

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВЕРА

Пролог. Тёмные стёкла

Два часа ночи. Тёмная «девятка» с тонированными стёклами катит по пустому проспекту. Фонари мелькают за окном, как стробоскопы — жёлтый, тёмнота, жёлтый, тёмнота. Вера сидит на заднем сиденье, закинув ногу на ногу, и смотрит в окно, хотя смотреть там не на что. Город давно уснул. Только редкие машины проносятся мимо, да где-то вдалеке мигает вывеска круглосуточного ларька.

За рулём — Толик. Он всегда молчит. Ему платят за то, чтобы он возил, а не за разговоры. Иногда он включит радио — тихо, едва слышно, чтобы не мешать. Сейчас играет что-то из девяностых, какой-то старый хит, и Вера невольно узнаёт мелодию, но не может вспомнить, кто поёт. Или не хочет вспоминать.

Вера знала, что Толик молчит не из вежливости. Он молчит, потому что видел многое — достаточно, чтобы понимать: разговоры не меняют ничего. Однажды, месяцев пять назад, когда она только начала ездить с ним, он вдруг сказал, не оборачиваясь:

— Ты новенькая?

— Новенькая.

— Давно?

На Вере — короткое чёрное платье, туфли на шпильке, которые она давно научилась носить так, будто родилась в них. Косметика наложена профессионально: глаза прорисованы, губы — тёмно-бордовые, кожа — ровная, матовая. Она выглядит старше своих лет. Намного старше. Хотя сколько ей? Двадцать три? Двадцать четыре? Она иногда сама путается. В паспорте — одно, в зеркале — другое, внутри — третье.

— Первый месяц, — ответила тогда Вера, и голос был совсем другой — не ровный, не привычный, а тихий, с надрывом, который она ещё не научилась прятать.

Толик кивнул. Больше не спрашивал. И с тех пор — молчал. Только иногда, когда она выходила из сауны с зелёным лицом и трясущимися руками, он протягивал назад, не оборачиваясь, бутылку воды — тёплую, из-под крана, из канистры, которую возил с собой. Вера брала, пила, и вода была невкусная, пластиковая, но от неё становилось легче — не внутри, а в горле, которое сжималось, будто кто-то держал за шею.

Сегодня он не протянул воду. Сегодня всё как всегда — норма, рутина, механика. Вера знала: если бы она не вышла из сауны, Толик бы не всполошился. Подождал бы десять минут, позвонил диспетчеру, поехал за следующей. Так работала система — без эмоций, без привязанностей, без лиш-

них вопросов. Машина, девочка, клиент, деньги. Как конвейер.

Телефон в сумочке вибрирует. Она не смотрит. Знает, кто. Диспетчер. Или клиент, который уточняет, скоро ли. Или мама, которая опять не может уснуть и пишет: «Веруль, ты когда приедешь?» Она ответит маме потом. Позже. Или завтра. Или не ответит вообще, потому что мама не знает, где она. Никто не знает, где она ночью. Все думают, что она работает в ночную смену на заводе. Хорошая легенда. Надёжная. Мама верит. Бабушка верила бы тоже, но бабушки уже два года нет.

Диспетчера звали Алла Ивановна. Вера никогда не видела её лицом, только слышала по телефону — голос прокуренный, низкий, деловой, как у диспетчера такси. «Адрес — сауна Лотос, два часа, клиент — Виктор Палыч, оплата — наличные, тебе — тридцать процентов». Тридцать процентов от двух тысяч — шестьсот. За два часа. За два часа того, от чего потом хочется мыться под кипятком, пока кожа не сойдёт.

Шестьсот рублей. Бабушка работала на почте за восемьсот в месяц. Вера зарабатывала бабушкину зарплату за вечер. Только бабушка шла на почту с прямой спиной, а Вера — в сауну с тонированными стёклами.

— Подъезжаем, — говорит Толик, не оборачиваясь. — Сауна «Лотос». Знаешь?

— Знаю, — отвечает Вера. Голос ровный, привычный.

Как у диспетчера, который говорит «ваш заказ принят». Как у кассира, который говорит «сдачу получите на кассе». Никакой интонации. Никакого чувства.

Машина сворачивает во двор, тормозит у приземистого здания с неоновой вывеской. Буква «Л» в слове «Лотос» не горит, и получается «отос», что почему-то каждый раз смешит Веру, хотя смеяться ей не хочется.

Она выходит из машины. Ночной воздух бьёт в лицо — холодный, резкий, с привкусом бензина и мокрого асфальта. Октябрь. Вера поправляет платье, закидывает сумочку на плечо, проверяет, всё ли на месте: телефон, презервативы, влажные салфетки, духи, перцовый баллончик «на всякий случай». Всё на месте. Всё, как всегда.

Пепельница в коридоре — переполненная, окурки торчат, как ёжик. Кто-то написал маркером на стене рядом с вешалкой: «Не забудь улыбнуться». Вера каждый раз читала эту надпись и каждый раз думала: а что, если не улыбнуться? Что будет? Клиент обидится? Уйдёт? Пожалуется? Нет. Клиенту всё равно. Ему нужна не улыбка — ему нужно тело. А улыбка — это так, упаковка. Как плёнка на коробке конфет: сними и выбрось.

Дверь сауны открывается, и оттуда пахнет хвоей, пивом и чем-то жареным. На пороге — администратор, толстый мужчина в спортивном костюме, с сигаретой за ухом:

— Ты от Виктора?

— От Виктора, — кивает Вера.

— Два часа. Комната три. Клиент уже там.

— Понятно.

Она идёт по коридору. Линолеум на полу — протёртый, с прилипшей жвачкой у порога. Стены обиты панелями под дерево, кое-где отошли, и за ними чернеет бетон. Вера стучит, заходит. Клиент — мужчина лет сорока, в полотенце, с красным лицом и мутными глазами. Улыбается, и от этой улыбки Вера чувствует привычную пустоту внутри — не боль, не страх, не отвращение. Просто пустоту. Как будто внутри выключили свет, и она идёт на автопилоте, как робот, как механизм, который выполняет программу.

Дверь закрывается.

Позже, когда всё заканчивается, когда Толик снова везёт её домой, когда город начинает синеть перед рассветом, Вера сидит на заднем сиденье и смотрит в потолок машины. На обшивке — пятна от сигарет, трещина на плафоне. Радио снова играет что-то старое, и на этот раз она узнаёт: «Руки Вверх». «Крошка моя, я по тебе скучаю…»

И вдруг — как удар — вспышка: школьный спортзал, гирлянда из фольги, кассетный магнитофон «Вега», Ленка шепчет: «Вер, ты видела? Он на тебя смотрел!» — и сердце стучит так, будто сейчас выскочит, и мир огромный, и впереди — всё, всё, всё…

Вера закрывает глаза. Откидывает голову на холодное стекло.

*Как я здесь оказалась? — думает она. — Как? Когда? В

какой момент?*

Она знает ответ. Знает точно. Всё началось не сегодня, не вчера, не год назад. Всё началось в один вечер, в одной тёмной комнате, с одним человеком, который отнял у неё нечто такое, что она уже никогда не смогла вернуть. Не невинность — это слово слишком красивое для того, что произошло. Он отнял доверие. Он отнял веру в то, что мир добрый. Он отнял Веру — ту Веру, с косичками, которая стояла перед зеркалом и думала, что впереди — цветы, нежность и долгие разговоры.

А осталась — эта. В чёрном платье, на заднем сиденье «девятки», с тонированными стёклами, в два часа ночи.

Бабушка была права, — думает Вера. — Главное, чтобы внутри была красивая.

Она усмехается. Криво, безрадостно.

Внутри. А что — внутри? Если бы можно было распороть грудь, как молнию на куртке, и заглянуть — что бы увидели? Темноту. Пыль. Осколки — мелкие, острые, как битое стекло. И — где-то глубоко, на самом дне, под слоями пустоты и пепла — маленький, тусклый, едва тлеющий огонёк. Не тепло — нет. Так — тление. Но — живое. Ещё — живое.

Бабушка говорила: «Главное — чтобы внутри была красивая». Бабушка — верила. Вера — нет. Вера — знала: внутри — грязно. Внутри — ломаное. Внутри — то, что не починить, не склеить, не отмыть. Но — тлеет. Что-то — тлеет. И пока тлеет — жива.

— Приехали, — говорит Толик, тормозя у её дома.

— Спасибо.

Она выходит, и холодный воздух — октябрьский, сырой, с привкусом ржавчины и опавших листьев — бьёт в лицо. Вера стоит у подъезда, смотрит на окна — тёмные, спящие. Мамино окно — на втором этаже — тёмное. Бабушкино — на третьем — тоже. Бабушки уже два года нет, но окно — всё ещё бабушкино. Вера так и думает — «бабушкино окно», будто бабушка просто ушла в магазин и вот-вот вернётся с апельсинами.

Апельсинов не будет. Бабушки не будет. Той Веры — не будет. Осталась — эта. В чёрном платье, на холодном крыльце, в три часа ночи, с сумочкой, в которой презервативы и перцовый баллончик.

Зато — живая, — думает она, и в этом «зато» — вся горечь, вся ирония, вся — усталость.

Она усмехается. Криво, безрадостно.

Она выходит, поднимается по лестнице, заходит в квартиру. Тихо. Мама спит. На холодильнике — записка: «Веруль, суп в кастрюле, не забудь поесть, я тебя люблю».

Вера стоит на кухне, смотрит на записку, и внутри — там, где давно уже пустота — что-то шевелится. Маленькое, тёплое, далёкое. Будто искра в остывшем костре.

Она роняет сумочку на пол, садится на табуретку, кладёт голову на руки и закрывает глаза.

И всё возвращается: бабушка, каша, фотоальбом, лагерь,

открытки, органайзер с ручкой, синее платье с цветочным узором, подъезд, который пахнет сыростью, звонок, дверь, музыка, его улыбка, его голос, тёмная комната, боль, забвение…

Как всё началось?

А началось всё хорошо.

Глава 1. Девочка с косичками

Вера жила неплохую жизнь. Если бы кто-то попросил её описать своё детство одним словом, она бы, наверное, сказала: «тёплое». Не потому что всё было идеально — идеального не бывает, — а потому что рядом всегда были люди, которые её любили.

Бабушка Зинаида Петровна работала на почте. Каждое утро она вставала в шесть, варила кашу, накрывала на стол и будила Веру песенкой, которую сама придумала:

Зинаида Петровна была женщиной старой закалки — из тех, кто встаёт в шесть даже в воскресенье, потому что «сон днём — это лень», кто варит кашу не из пакетиков, а из настоящей крупы, которая варится полчаса и требует помешивания, кто глажет постельное бельё, хотя никто этого не видит, потому что «аккуратность — это уважение к себе». Она носила очки в роговой оправе, которые сползали на кончик носа, и привычно поправляла их указательным пальцем — так часто, что это движение стало таким же автоматическим, как дыхание.

Вера любила наблюдать за бабушкой по утрам. Бабушка двигалась по кухне — медленно, но точно, как часовой механизм: кран, кастрюля, крупа, соль, масло. Каждое движение — выверенное, без лишних жестов. Она не размахивала руками, не суетилась, не бросала ничего. Просто — делала.

И каша получалась всегда одинаковой — не жидкой, не густой, а такой, чтобы ложка стояла, но не вертикально, а чуть наклонно. Идеальная каша.

— Вставай, вставай, пора гулять, солнце в окна заглядь-глядь!

Вера хмурилась, прятала голову под подушку и хихикала. Бабушка делала вид, что обижается, потом не выдерживала и сама смеялась:

— Ну и соня, вся в маму.

Мама, Наталья Сергеевна, работала на фабрике — сменами, рано уходила, поздно приходила, но всегда, всегда находила минутку. То записку на холодильнике оставит: «Веруль, суп в кастрюле, не забудь поесть, я тебя люблю», то позвонит в перерыве:

Записки на холодильнике были маминым языком любви. Она не умела говорить «я тебя люблю» вслух — краснела, запиналась, махала рукой: «Ну что ты, ну хватит». Но писала — каждый день, ровным круглым почерком, как в школьной тетради: «Веруль, суп в кастрюле, не забудь поесть, я тебя люблю». Иногда добавляла «пироги на столе» или «молоко не забудь закрыть». Бабушка говорила: «Твоя мама — как почтальон, только письма не отправляет, а на холодильник клеит».

Вера выросла среди этих записок. Они были фоном — как обои, как тикающие часы, как бабушкин запах — лаванда и мята. Она не замечала их, как не замечают воздух, пока не

задохнёшься.

— Ну как ты там? Уроки сделала?

— Мам, ну конечно!

— А по русскому?

— Мам!

— Ладно-ладно. Я вечером приду, пирогов принесу.

Отец ушёл, когда Вере было семь. Не ушёл — скорее растворился. Однажды он просто не вернулся с работы, потом позвонил, сказал, что нашёл другую женщину, и будто его никогда и не было. Вера помнила его смутно: большие руки, запах одеколона, голос, который читал ей сказки на ночь. Но голос этот с годами становился всё тише и тише, пока не исчез совсем.

Отец уходил долго. Не разом — как обрыв, а постепенно, как нитка, которая истончается. Сначала стал поздно приходить. Потом — не приходить совсем. Потом — не звонить. Потом — звонить, но коротко, сухо, будто разговаривал с коллегой, а не с дочерью: «Ну как ты? Учись хорошо. Я перезвоню». И не перезванивал.

Вера помнила последний раз, когда видела его. Ей было семь. Он пришёл — не домой, а к школе, стоял у забора, курил. Увидел её, помахал. Она побежала к нему — радостно, бездумно, как бегут дети к отцам, — а он присел на корточки, обнял и сказал:

— Верунчик, папа уезжает. На север. Работа. Буду звонить.

— Пап, а когда приедешь?

— Скоро, — он улыбнулся, но глаза были виноватые, бегающие, и Вера, хоть и маленькая, почувствовала: «скоро» — это навсегда.

Он протянул ей шоколадку — «Сникерс», в синей обёртке, её любимую. Она взяла, не разворачивая. Стояла и смотрела, как он идёт по улице — спина широкая, плечи опущенные, — пока он не свернул за угол. И угол поглотил его, как вода.

Шоколадку она съела не сразу. Дома положила на полку — и та стояла три дня, пока бабушка не выбросила, потому что «шоколад не хранят вечно».

Бабушка, заметив, что Вера перестала спрашивать про папу, однажды сказала:

— Ты, внученька, не держи на него зла. Люди бывают слабые. Но ты-то у нас сильная.

Вера кивнула. Не потому что поняла, а потому что бабушке так было спокойнее.

Выходные были особенным днём. Бабушка доставала свой потрёпанный фотоальбом, и они вместе рассматривали чёрно-белые снимки:

Выходные были особенным днём. Бабушка доставала свой потрёпанный фотоальбом — обтянутый кожей, с золотым тиснением на обложке, которое давно облупилось, и остались только буквы «ФОТ…», — и они вместе рассматривали чёрно-белые снимки:

— А это я молодая, смотри, какая стройная была. Это на заводе, а вот это — твой дед, царствие ему небесное. Красивый, да?

— Бабуль, а почему у тебя тут платье такое длинное?

— Потому что в наше время короткие не носили. Скромнее были.

— А сейчас — не скромные?

— Сейчас — другие. Не лучше, не хуже. Другие.

Вера слушала, разглядывала фотографии, и ей казалось, что раньше всё было проще и понятнее. Что люди на снимках — не улыбались, как сейчас, а смотрели — серьёзно, прямо, будто знали что-то, чего не знали современные. Может — знали. Может — наивные. Может — просто — другие.

Однажды Вера нашла в фотоальбоме фотографию, которую раньше не видела. Бабушка и дедушка — молодые, на берегу реки. Бабушка — в платье, дед — в гимнастёрке, и оба смотрят друг на друга, и в этом взгляде — столько, что у Веры защемило в груди. Не нежность, не страсть — что-то другое, чему не учат в школе, о чём не пишут в журналах. Может — верность. Может — терпение. Может — просто — «ты — моя, и я — твой, и всё остальное — неважно».

— Бабуль, а ты деда любила?

Бабушка посмотрела на фотографию — поверх очков, поверх лет — и сказала тихо:

— Любила. И люблю. Любовь, внученька, не умирает. Она — как река. Видно — или нет, но течёт.

Вера не поняла. Тогда — не поняла. Потом — вспомнила. Когда не было ни деда, ни бабушки, ни реки — только пустота и тонкая полоска света из-под двери — вспомнила: «Она — как река. Течёт».

Вера слушала, разглядывала фотографии, и ей казалось, что раньше всё было проще и понятнее.

Два года. Два года без бабушки. Без её песенки, без каши, без фотоальбома, без «мало ли», без апельсинов. Два года — Вера живёт в квартире, где пахнет лавандой и мятой, но нет того, кто наполнял этот запах. Бабушкина комната — пустая. Вера не заходит. Не может. Дверь — закрыта, и за ней — не тьма, нет. За ней — свет. Тот, прошлый, тёплый, с обоями и часами и фотографиями. И Вера не открывает дверь, потому что если откроет — свет погаснет. Так — лучше. Так — свет — есть. За дверью. Навсегда. Не тронутый.

Мама — одна. Мама работает — сменами, рано уходит, поздно приходит. Мама — похудела, постарела, опустила. Готовит — на двоих, ест — одна. Записки на холодильнике — всё ещё клеит. «Веруль, суп в кастрюле, не забудь поесть, я тебя люблю». Каждая записка — как письмо, отправленное в тишину. Которое — может — не дойдёт. Но мама — клеит. Каждый день. Потому что — пока клеит — есть надежда, что прочитают. Что — придут. Что — поедят. Что — вернутся.

На каникулах — лагерь. Каждый год, без исключения. Бабушка паковала чемодан так, словно Вера уезжала на Северный полюс: свитер на всякий случай, две пары тёплых нос-

ков «потому что ночи холодные», аптечка, в которой было всё — от пластыря до активированного угля.

— Бабуль, ну это же лагерь, а не экспедиция!

— Мало ли что, — отвечала бабушка, утрамбовывая чемодан с решительностью генерала перед боем.

В лагере Вера любила всё: запах сосен, утреннюю росу на траве, вечерние костры, когда кто-то рассказывал страшные истории, и все сидели, вцепившись друг в друга, а потом с хохотом разбегались по палатам. Она писала бабушке письма на открытках, которые та дала ей «на всякий случай»:

В лагере у Веры была традиция — каждый вечер, перед сном, она писала. Не в дневник — дневников не было. Писала на обрывках бумаги, на страницах, на полях тетради. Писала — что видит, что слышит, что чувствует. Будто пыталась удержать — поймать момент, как бабочка, и прикрепить к странице, чтобы не улетел. «Сегодня солнце садилось красным. За соснами. Кости грызли — нашли где-то. Вожатый Анатолий пел под гитару «Песню о друге» — фальшиво, но все подпевали. Муравьи залезли в палатку. Жуть».

Она не знала, что это — писательство. Не знала, что это — тот же импульс, который двигает писателями, поэтами, мемуаристами: не дать уйти. Сохранить. Остановить время — хотя бы на странице. Вера просто — писала. Для себя. Без цели, без плана, без мысли, что когда-нибудь — кто-то прочитает.

Может быть, если бы она сохранила эти записи — тетра-

ди, обрывки, поля — всё было бы иначе. Может быть, она написала бы книгу — не ту, которую не написала, а другую — о лагере, о соснах, о бабушкиных открытках. О том, как мир был тёплым. Но тетради потерялись — в переездах, в скитаниях, в ночах, когда не было ни тетради, ни ручки, ни страницы, на которой можно остановить время.

«Дорогая бабуля! У меня всё хорошо. Вчера были соревнования, наша команда заняла второе место. Жарко, мухи много. Целую, твоя Вера».

Бабушка хранила все эти открытки в том же фотоальбоме, между фотографиями.

Вера росла хорошим ребёнком: спокойным, покладистым, не склонным к дракам и скандалам. Училась неплохо — не отличница, но и не двоечница. Любила литературу, рисование, иногда — математику, если настроение было хорошее. У неё были подружки, была компания, были секреты, были мечты. Обычные мечты пятнадцатилетней девочки.

Был ещё один человек в детстве Веры, о котором она редко вспоминала — тётя Оля, мамина сестра, которая жила в другом городе и приезжала раз в год, летом, с чемоданом подарков и запахом чужих духов. Тётя Оля была шумная, весёлая, бездетная — и поэтому особенно щедрая: дарила Вере платья, заколки, духи «Красная Москва» в маленьком флаконе. Бабушка ворчала: «Оль, ты её балуешь», — но сама улыбалась, потому что тётя Оля привносила в квартиру ветер — свежий, тёплый, с привкусом другого города, другой

жизни.

— Верочка, — тётя Оля садилась на корточки, брала за подбородок, заглядывала в глаза. — Ты растёшь какая! Красавица! Вся в маму.

— В маму? — Вера хихикала. — А бабушка говорит — в деда.

— Бабушка говорит — в деда, а я говорю — в маму. Бабушка — про характер, а я — про лицо. Ты вот губы мамины, и глаза мамины, и вот эту ямочку на щеке — тоже мамины.

Вера трогала щёку — ямочку, которую никогда не замечала, — и чувствовала: что-то тёплое, что-то настоящее, что-то, что связывает её не с пустотой, а с людьми. С мамой. С бабушкой. С тётей Олей. С дедом, которого не помнила. С миром, который — пока — был добрым.

И всё было хорошо. До одного дня.

Глава 2. Кислотные заколки

К своим пятнадцати годам Вера очень повзрослела. Она была не по годам развитая, будто тело спешило вперёд, а душа не успевала. У неё рано появилась хорошая грудь, и она не знала, что с ней делать: то ли прятать, то ли, наоборот, носить то, что подчёркивает. Мама замечала и тихо ворчала:

Тело менялось, и Вера не успевала за ним. Грудь — рано, бёдра — рано, рост — рывками, будто кто-то дёргал за ниточки, и кукла росла неравномерно: то ноги вытянулись, то руки, то лицо вытянулось, и нос — вдруг стал другим, и губы — полнее, и она смотрела в зеркало и не узнавала себя. Каждый месяц — новое лицо. Как будто кто-то перерисовывал её, не спрашивая.

Подружки тоже менялись, но по-другому — медленнее, плавнее, как будто у них было время. У Веры времени не было. Тело спешило, и от этого спешила жизнь — или ей казалось. Подружки ещё играли в резиночку, а Вера уже замечала взгляды мальчишек — не детские, не шальные, а другие, оценивающие, будто мерили. Она не понимала этих взглядов. Не знала, что с ними делать. Пряталась за книгами, за рюкзаком, за широкой спиной Ленки, которая была выше всех в классе и ещё не переросла.

— Веруля, эта блузка слишком… открытая. Может, другую наденешь?

— Мам, ну все так ходят! Ты что, из пещеры?

— Я не из пещеры. Я просто мама.

— Вот именно, что мама, — фыркала Вера и уходила в комнату, хлопая дверью.

Бабушка в таких случаях садилась на табуретку у окна, качала головой и говорила:

— Наташа, не дави на неё. Она растёт, ей надо.

— Мам, я не давлю. Я просто переживаю.

— Вот и не переживай. Мы её вырастили хорошую, она и дальше хорошей будет.

Бабушка говорила это — уверенно, как говорят то, во что верят безусловно. Она верила в Веру — как верят в солнце: не потому что доказано, а потому что без веры — темно. Бабушкина вера была не слепая — нет, она видела, что Вера меняется, что краски ярче, что блузки открытее, что язык острее. Но верила: внутри — то, что она вырастила. Тёплое. Хорошее. То, что не сломается.

Бабушка ошиблась. Не сразу, не в один день — постепенно, медленно, как дерево гнётся под ветром. Не ломается — гнётся. А потом — ломается. И никто не замечает, когда именно — гнусь стала треском. Бабушка не заметила. Не потому что не смотрела — потому что не верила, что может сломаться. Верила — до последнего. До той ночи, когда Вера прибежала домой, и ревела в подушку, и бабушка стояла за дверью и говорила: «Не пугай себя, Наташа». А пугать — было уже поздно.

Девяностые были временем ярких красок. Вера, как и все её сверстницы, обожала всё кислотное, блестящее, броское. Зелёные тени с перламутром, розовая помада, тушь, которая якобы не размазывалась, но, конечно, размазывалась. Заколки со стразами, резинки с металлическими шариками, обручи, обтянутые бархатом. Она покупала всё это на карманные деньги, которые давала бабушка — «на мороженое», конечно, но Вера мороженое любила меньше, чем косметику.

— Бабуль, ну посмотри, ну как тебе?

Бабушка поднимала очки, прищуривалась:

— Ну… крашеная. Как кукла.

— Бабуль! Это же мода!

— Мода-шмода. Главное, чтобы внутри была красивая.

Вера закатывала глаза, но в глубине души знала, что бабушка права. Просто сейчас, в пятнадцать, внешнее казалось важнее внутреннего. Гораздо важнее.

В школе Вера была незамётной — из тех, кто сидит на средних партах, отвечает, когда спросят, и не поднимает руку первым. Учителя не жаловались и не хвалили — проходила мимо, как тень. Но была одна учительница — Маргарита Фёдоровна, литература, — которая заметила её. Не потому что Вера блистала на уроках, а потому что однажды, на сочинении про «Капитанскую дочку», Вера написала не про Пугачёва и не про Гринёва, а про Машу — про то, как Маша остаётся одна, когда все уходят, и как она находит в себе силы идти дальше, не потому что сильная, а потому что

— некому за неё идти.

Маргарита Фёдоровна прочитала, долго молчала, потом сняла очки и сказала:

— Верочка, ты понимаешь больше, чем полагается в твоём возрасте. Это — и подарок, и беда.

Вера не поняла, что она имела в виду. Поняла потом. Гораздо позже.

Дискотеки были отдельной стихией. По субботам школьный спортзал превращался в танцевальный зал: гирлянда из фольги на стене, магнитофон «Вега», кассеты, которые кто-то из старшеклассников приносил из дома. Танцевали под «Руки Вверх», «Иванушек International», «Кар-Мэн». Вера приходила с подружками, и они сначала стояли у стенки, жались, хихикали, а потом, когда начиналась знакомая песня, выбегали в центр и плясали так, будто завтра не будет ни уроков, ни контрольных, ничего.

— Вер, ты видела? Он на тебя смотрел!

Ленка танцевала — как сумасшедшая, без стеснения, и тянула Веру за руку: «Вер, иди сюда! Чего стоишь!» Вера — шла, сначала неуверенно, потом — втягивалась, и музыка забирала, и тело двигалось, и мир становился — простым, ясным, как песня, которую знаешь наизусть: три аккорда, три слова, и всё — понятно. Ничего — не надо. Только — двигаться, и слушать, и петь — громко, не стесняясь, потому что все — поют. Все — вместе. И в этом «вместе» — было — всё.

После дискотеки — домой, по тёмной улице, с подружками, взявшись за руки, и луна — огромная, жёлтая, висит над домами, как фонарь, и воздух — холодный, свежий, и щёки — горят, и ноги — гудят, и сердце — ещё стучит в ритме «Крошка моя, я по тебе скучаю», и Вера — бежит, и смеётся, и думает: «Вот. Вот — жизнь. Вот — она. И она — прекрасна».

— Кто?!

— Ну Максим, из десятого! Смотри, смотри, опять смотрит!

Вера делала вид, что ей всё равно, но сердце уже неслось вскачь.

Ленка была Верина лучшая подруга — единственная, настоящая, не из тех, что приходят и уходят, а из тех, что прилипают с первого класса и остаются. Они познакомились в букварный день — Ленка сидела рядом, уронила пенал, и Вера подняла, и с тех пор они были неразлучны. Ленка была высокая, костлявая, с конопушками и вечной чёлкой, которая лезла в глаза. Она смеялась громче всех, бегала быстрее всех, дралась — если надо, — и защищала Веру от мальчишек, которые дёргали за косички. Вера была тихая, Ленка — громкая. Вместе — баланс.

Они делили всё: секреты, жвачку, тетради, слёзы. У Веры был альбом с фотографиями — Ленка рисовала туда сердечки и писала «подруги навек». У Ленки был дневник — замочек, ключик на верёвочке, и туда она записывала, кто ко-

му нравится. «В. нравится М. из 10-Б», — было написано на странице от четырнадцатого октября. В. — это Вера. М. — это Максим. Ленка знала раньше всех.

Максим. Из параллельного, из десятого «Б». Высокий, русоволосый, с хитрой улыбкой. Вера заметила его ещё в сентябре, когда он зашёл в столовую, купил булочку и, проходя мимо, случайно толкнул её плечом.

— Ой, извини, — сказал он, и улыбнулся.

— Ничего, — ответила Вера, и голос её дрогнул.

С тех пор она стала замечать его везде: в коридоре, на линейке, у расписания. Он был на два года старше, и от этого казался недосягаемым, как звезда на ночном небе. Вера не признавалась никому, что думает о нём перед сном, просто лежала и прокручивала в голове сценарии, в которых он вдруг подходит и говорит что-то, от чего мир становится лучше.

Ленка знала. Конечно, знала — она всегда знала первой. Однажды, на перемене, когда они сидели на подоконнике и ели булочки, Ленка наклонилась и сказала — тихо, заговорщицки:

— Вер, ты же по нему сохнешь?

— По кому? — Вера покраснела до ушей.

— По Максу. Не притворяйся. Я вижу, как ты смотришь, когда он проходит.

— Я не…

— Вер. Я тебя знаю с первого класса. Ты краснеешь, ко-

гда его имя слышит. Ты на физику опаздываешь, потому что ждёшь у расписания, когда он пройдёт. Ты…

— Лен! — Вера закрыла лицо руками. — Хватит.

Ленка засмеялась — громко, весело, и обняла её за плечи:

— Ладно, ладно. Молчу. Только — Вер? Будь осторожна. Он — не из нашей оперы.

— Что значит — не из нашей?

— Ну… он старше. Он тусуется с теми, кто… Ну, ты понимаешь. Не с нашей школой. С другими.

— И что?

— И то, что ты — хорошая. А хорошие — страдают. Это — закон.

Вера отмахнулась. Тогда — отмахнулась. Тогда казалось: Ленка преувеличивает, Ленка — паникёрша, Ленка — просто ревнует. Потом — поняла. Потом — было поздно.

Мама с бабушкой не отказывали ей в дискотеках. «Только до десяти», — говорила мама, застёгивая пуговицу на куртке.

— До десяти, мам, обещаю!

— И чтобы звонила, если что.

— Конечно, мам.

Вера выбегала из дома, бежала по тёмной улице, и ей казалось, что впереди — целая жизнь, и она будет прекрасной.

Глава 3. Органайзер с ручкой

Это случилось в обычный вторник. Ничего особенного: уроки, перемена, запах мела и школьных коридоров, кто-то кричал на лестнице, кто-то ел булочку, кто-то списывал домашку.

Вера стояла у расписания, прижимая к груди тетрадь, и думала о том, что на физику она не подготовилась. Мимо прошли мальчишки из девятого, толкаясь и хохоча. Потом из-за угла появился Максим.

Он шёл вразвалку, засунув руки в карманы, будто у него не было ни единой заботы на свете. Увидел Веру, остановился, облокотился на стену рядом с расписанием, будто изучал его, хотя все знали, что Максим никогда не смотрел на расписание.

Максим подошёл ближе. От него пахло чем-то — не сигареты, не парфюм, а что-то другое, мужское, непонятное, от чего у Веры перехватило дыхание. Она стояла, прижимая тетрадь к груди, и чувствовала, как краснеют щёки, уши, шея — вся, до кончиков пальцев.

— Ну так что? — он улыбнулся, и улыбка была хитрой, но не злой. По крайней мере, ей так казалось. — Придёшь?

— Я… наверное.

— Ну «наверное» — это не ответ. Да или нет?

— Да, — сказала Вера, и это «да» прозвучало так, будто

она подписывала контракт, не прочитав.

— Привет, — сказал он.

Вера вздрогнула.

— П-привет.

— Слушай, — он повернулся к ней, и от этой близости у неё перехватило дыхание. — У меня в субботу день рождения. Приходи. Будет весело.

Вера моргнула. Потом ещё раз. Потом поняла, что он говорит серьёзно, и внутри всё вспыхнуло, как спичка.

— А… а кто ещё будет? — она старалась, чтобы голос звучал небрежно, но он дрожал, и она это знала.

Вера побежала по коридору, и мир стал другим — свет ярче, звуки чётче, воздух слаще. Она влетела в класс, где Ленка уже сидела за партой, рисуя в тетради сердечки.

— Лен! Ленка!

— Что? Ты чего? — Ленка подняла голову, и чёлка упала на глаза.

— Он меня позвал! На день рождения!

Ленка округлила глаза так, что казалось — выпадут.

— Кто?!

— Максим!

— Максим из десятого? Ты с ума сошла?! Он же… — Ленка наклонилась ближе, зашептала: — Он же со старшими тусуется. Серый, этот, с бритой башкой, и ещё кто-то. Они пьют, курят. Тебе туда нельзя.

— Почему нельзя? Он пригласил. Вежливо.

— Вежливо… — Ленка поджала губы. — Вер, ты его знаешь? Он тебе кто?

— Никто. Просто… нравится.

— Нравится, — Ленка покачала головой. — Из-за «нравится» люди глупости делают. Ладно. Тебе решать. Но если что — звони мне. Сразу.

— Ладно, — кивнула Вера, но про себя уже решила: ничего не случится. Ничего. Просто день рождения. Просто праздник.

Просто.

Максим пожал плечами:

— Да так, пара ребят. Ничего особенного. Но ты приходи. Было бы круто.

— Я… подумаю.

Подарок. Она пошла в магазин на углу — тот самый, где пахло резиной и жвачкой, где продавщица тётя Галя знала всех детей по именам и давала леденцы «за вежливость». Вера долго ходила вдоль полок, трогала коробки, разглядывала упаковки. Набор ручек — слишком скучно. Кассета — у него наверняка есть. Брелок — несерьёзно. И тут увидела: органайзер. Тёмно-синий, с яркой синей окантовкой, с ручкой, которая вставлялась в специальный паз. Строгий, но не скучный. «В самый раз», — подумала Вера, представляя, как Максим улыбнётся и скажет: «Спасибо, Вер, ты лучшая».

— Тётя Галь, сколько стоит?

— Сто двадцать рублей, Верочка.

Сто двадцать. У неё было сто — бабушкины, «на всякий случай» — и тридцать своих, накопленных. Хватит. Она отсчитала монеты, и тётя Галя, увидев, как Вера трясёт кошелёк, вытряхивая последние копейки, сказала:

— Вер, я тебе сдачу не возьму. Ладно?

— Спасибо, тётя Галь!

— На здоровье. Только — Вер? Это подарок кому?

— Другу. На день рождения.

— Другу… — тётя Галя посмотрела на неё — поверх очков, поверх прилавка — и в этом взгляде было что-то, чего Вера не поняла тогда. Может — беспокойство. Может — предчувствие. Может — просто — жалость к девочке, которая копит монеты на органайзер для мальчишки, который не стоит ни одной монеты.

— Другу, — повторила тётя Галя. — Ну, дай бог. Дай бог.

— Не долго, — он усмехнулся и ушёл, не оглянувшись.

Вера стояла у расписания, и мир вокруг изменился. Звуки стали другими, свет — ярче, воздух — легче. Она побежала к подружкам, схватила Ленку за рукав:

— Ленка! Ленка, он меня позвал! На день рождения!

— Кто?!

— Максим!

Ленка округлила глаза:

— Ты серьёзно?! Максим из десятого?!

— Ну да!

— Офигеть. И что ты будешь делать?

— Не знаю. Пойду, наверное.

— Конечно пойдёшь! А что наденешь?

Этот вопрос стал главным на ближайшие три дня. Что надеть? Что подарить? Как накраситься? Что сказать? Как вести себя? Вера прокручивала в голове десятки вариантов, каждый отвергала, придумывала новый, снова отвергала.

В субботу утром она встала в семь — хотя вставать было некуда, вечеринка вечером. Лежала, смотрела в потолок, и сердце уже стучало часто-часто, как будто знало что-то, чего не знала она сама.

Подарок. Она пошла в магазин на углу, долго ходила вдоль полок, трогала коробки, разглядывала упаковки. Набор ручек — слишком скучно. Кассета — у него наверняка есть. Брелок — несерьёзно. И тут увидела: органайзер. Тёмно-синий, с яркой синей окантовкой, с ручкой, которая вставлялась в специальный паз. Строгий, но не скучный. «В самый раз», — подумала Вера, представляя, как Максим улыбнётся и скажет: «Спасибо, Вера, ты лучшая».

Дома она долго сидела перед зеркалом. Накрутила волосы на большие бигуди, которые бабушка использовала ещё в советские времена — розовые, пластиковые, с защёлками, которые больно тянули волосы. Накрасилась: тени — нежно-розовые, не кислотные, сегодня особенный день. Помада — бледно-розовая, почти незаметная, «как у мамы в юности». Подводка — тонкая, аккуратная. Она выглядывала из зеркала, как картина, и в этой картине всё было на своих ме-

стах.

— Веруль, ты долго ещё? — крикнула мама из кухни.

— Мам, пять минут!

— У тебя уже полчаса — пять минут!

— Мам, ну это же важно!

— Ладно. Только не накрасься, как клоун.

— Мам! Я не клоун!

— Я знаю. Я просто говорю — осторожнее. Ты и так красивая.

Вера улыбнулась. Мама — в своих заботах, в своих «осторожнее» и «не накрасься, как клоун» — была постоянной, как Северная звезда. Можно было не соглашаться, можно было закатывать глаза, можно было хлопать дверью — но мама была. Всегда. Как земля под ногами. Даже когда не замечаешь — держит.

Дома она долго сидела перед зеркалом. Накрутила волосы на большие бигуди, которые бабушка использовала ещё в советские времена. Накрасилась: тени — нежно-розовые, не кислотные, сегодня особенный день. Помада — бледно-розовая, почти незаметная, «как у мамы в юности». Подводка — тонкая, аккуратная. Она выглядывала из зеркала, как картина, и в этой картине всё было на своих местах.

Платье. То самое — с мелким цветочным узором, синее с белым, которое бабушка купила ей в прошлом году в кооперативном магазине. Вера берегла его для особого случая, и вот этот случай настал. Она надела его, покрутилась перед

зеркалом, поправила подол.

Мама зашла в комнату, остановилась в дверях:

— Ну что, выглядишь как принцесса.

— Мам, ну не надо, — Вера покраснела.

— Ладно-ладно. Только помни: до десяти. И если что — сразу звони.

— Конечно, мам.

— Обещаешь?

— Обещаю, мам.

Бабушка проводила до двери, сунула в карман сто рублей:

— На всякий случай, внученька. Мало ли.

— Бабуль, у меня есть.

— Мало ли, — повторила бабушка и поцеловала её в лоб. Губы — сухие, тёплые, с запахом лаванды и мятных леденцов. Вера запомнила этот поцелуй — не тогда, не в тот момент — потом. Гораздо позже. Когда поцелуи стали редкостью. Когда чужие губы были другими — потными, пахнущими портвейном, никотином, похотью. Тогда — в памяти — бабушкин поцелуй стал талисманом. Единственным тёплым прикосновением, которое никто не отнимет, не испортит, не заменит. Бабушкин поцелуй — в лоб, на пороге, перед выходом в мир, который был — тёплым и добрым, и впереди — всё, всё, всё.

— Бабуль, я до десяти, — сказала Вера.

— Я знаю, внученька. Я знаю.

Вера вышла на улицу. Был тёплый осенний вечер, воздух

пах палой листвой и чем-то сладким, незнакомым. Она шла и улыбалась. Мир был добрым, и она не чувствовала опасности. Не чувствовала — потому что не знала, что опасность существует. Что мир может быть недобрым. Что люди могут — брать, не спрашивая. Что «до десяти» — это не обещание, а — может быть — последнее правило, которое имело значение. После десяти — всё изменилось. После десяти — мир стал другим. Но этого Вера ещё не знала. Она шла — и улыбалась. И бабушкин поцелуй — горел на лбу, как отметка. Как печать. Как — «моя».

— Ну иди, — мама обняла её, крепко, по-настоящему. — Будь умницей.

Бабушка проводила до двери, сунула в карман сто рублей:

— На всякий случай, внученька. Мало ли.

— Бабуль, у меня есть.

— Мало ли, — повторила бабушка и поцеловала её в лоб.

Вера вышла на улицу. Был тёплый осенний вечер, воздух пах палой листвой и чем-то сладким, незнакомым. Она шла и улыбалась. Мир был добрым, и она не чувствовала опасности.

Глава 4. Тусовка

Она нашла нужный дом — панельную девятиэтажку на окраине района, серую, как все такие дома, но сегодня кажущуюся ей сказочным замком. Подъезд был тёмный, пахло сыростью и сигаретами. Вера поднялась на третий этаж, остановилась у двери, и вдруг оробела. Стояла, прижимая к себе пакет с подарком, и не могла заставить себя позвонить. Внутри играла музыка — такой плотный, вибрирующий бит, от которого, казалось, дрожали стены.

«А вдруг он не рад будет? — подумала она. — Вдруг это была шутка? Вдруг я пришла, а там все старше, и я буду лишняя?»

Она постояла ещё минуту, набрала воздуха и нажала на кнопку звонка.

Вера сидела на диване, и комната кружилась вокруг — не от шампанского, хотя голова уже слегка гудела, а от запаха, от дыма, от голосов, от того, что все были старше, все были увереннее, и она — единственная, кто не знал, куда деть руки. Она скрестила их на коленях, потом положила на подлокотник, потом убрала обратно. Заметила, что Светка, которая позвала её «садись», уже не помнит про неё — Светка танцевала с каким-то парнем, прижималась, смеялась. Вера была одна в толпе.

Максим подходил и отходил — легко, непринуждённо,

как хозяин, который обходит гостей. Иногда — обнимал Веру за плечо, быстро, мимоходом, и от этого прикосновения всё внутри вспыхивало. Иногда — садился рядом, подливал шампанское, шутил:

— Ну что, Вер, скучно?

— Нет, — она качала головой. — Весело.

— Правильно. Грустить — вредно.

И снова уходил — к другим, к своим, к тем, с кем было легче, кто умел пить, не морщась, и смеяться, не стесняясь.

Один раз к Вере подсел парень — незнакомый, с бритой головой, в кожаной куртке. Серый. Тот самый.

— Ты новенькая? — он посмотрел на неё оценивающе, будто сканировал.

— Я… из параллельного. Восьмой «А».

— Восьмой? — он усмехнулся. — Маленькая. А Макс зачем тебя позвал?

Вера не знала, что ответить. Пожала плечами. Серый хмыкнул и ушёл, и Вера осталась одна, с пустым стаканчиком и странным ощущением — будто её изучили, оценили и отложили.

Дверь распахнулась, и на пороге стоял Максим. Джинсы с потёртостями, белая футболка, босиком. Волосы растрёпаны, будто он только проснулся, хотя было семь вечера.

— О, Вера! Заходи, — он отступил, пропуская её. — Мы уже тут вовсю.

Она шагнула внутрь. В прихожей было тесно: куртки, сум-

ки, чья-то обувь валялась на полу. Из комнаты доносились голоса, смех, музыка. Вера разулась, поправила волосы и прошла в зал.

Квартира была полна людей. Парни, девчонки — все старше, все будто из другого мира: уверенные, громкие, свободные. Кто-то сидел на диване, кто-то на подоконнике, кто-то прямо на полу. На столе стояли бутылки, стаканчики, тарелки с нарезкой, чипсы, сухарики. В воздухе — запах табака, дешёвого парфюма и чего-то сладкого, будто кто-то пролил газировку.

Вера почти никого не знала. Она увидела одну знакомую — Светку из соседнего класса, но та была уже изрядно весёлой и только махнула рукой:

— О, Вера! Иди сюда, садись!

Вера села на край дивана, прижимая пакет с подарком к коленям. Руки — мокрые, холодные. Сердце — быстро. Она чувствовала: все смотрят. Может, не все. Может, ей казалось. Но — казалось, что все. Все — на неё. На девочку в синем платье, с органайзером в пакете, которая не знает, куда деть руки, и улыбается — натянуто, неуверенно.

Максим подошёл, сел рядом, обнял за плечо — небрежно, по-дружески, как обнимают товарищей, не девушек. Вера почувствовала его руку — тяжёлую, горячую, уверенную — и внутри всё вспыхнуло, как спичка, и она забыла про руки, про пакет, про то, что не знает, куда деть себя. Было — только его плечо. Его запах. Его голос:

— Ну что, подарки? Давай.

Вера протянула пакет. Руки чуть дрожали.

— С днём рождения, Максим. Это тебе.

Он развернул, достал органайзер, глянул мельком, хмыкнул:

— О, органайзер. Класс. Спасибо.

И бросил его на тумбочку рядом с другими подарками — без разбора, без интереса, будто ещё один предмет в куче вещей. Органайзер — тёмно-синий, с яркой окантовкой, с ручкой, которую Вера выбрала полчаса, отсчитывая монеты — лёг рядом с пачкой сигарет, зажигалкой и чьим-то порванным конвертом.

Вера почувствовала укол обиды — маленький, острый, как иголка. Но тут же себя одёрнула: «Не обижайся, это же праздник, он же не обязан был прыгать до потолка». Он поцеловал её в щёчку — быстро, почти небрежно, — и Вера вся налилась краской, засмущалась. И обида — прошла. Забылась. Растворилась в этом поцелуе, в этом «спасибо», в этом «класс».

Потом — потом она будет помнить. Органайзер на тумбочке. Среди окурков и конвертов. Брошенный, не нужный, не оценённый. Как она сама — брошенная, не нужная, не оценённая. Но это — потом. А сейчас — поцелуй в щёку, и шампанское, и «ты ничего», и мир — тёплый, и парень — рядом, и всё — хорошо.

— Ну что, будешь шампанское? — спросил он, уже вста-

вая.

— Я… не знаю. Я не очень умею.

Максим вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками, один протянул Вере:

— За меня. За здоровье.

Вера взяла стаканчик, сделала глоток. Шампанское было сладким, пузырьки защекотали в носу, и она чуть не чихнула.

— Ну как? — спросил Максим.

— Вкусно, — кивнула Вера, и это была правда.

— Давай до дна, — он поднял свой стаканчик. — За именинника.

Она выпила, и ей стало тепло и легко, будто внутри зажгли маленькую лампочку. Музыка заиграла громче, кто-то включил песню, все начали подпевать, и Вера тоже — тихо, стесняясь, но подпевала.

— А ты ничего, — Максим наклонился к ней, и от этого «ничего» Вера растаяла, как масло на сковородке. — Я думал, ты скучная. А ты — ничего.

— Я не скучная, — обиделась Вера.

— Ну вот. Ты не скучная. Я и говорю — ничего.

Он засмеялся, и Вера засмеялась, и мир вокруг — музыка, дым, голоса, чужие лица — стал — на секунду — тёплым. Будто кто-то открыл дверь, и в неё пахнуло летом, лагерем, костром, бабушкиной кашей. Тёплым. Домашним. Безопасным.

Это было — враньё. Это было — приманка. Но Вера не

знала. Не могла знать. Ей было пятнадцать, и она верила, что если человек улыбается — он добрый. Что если наливает шампанское — он друг. Что если говорит «ты ничего» — значит, ты — что-то значишь.

Не знала. Не знала, что «ты ничего» — это не комплимент. Это — оценка. Оценка товара перед покупкой.

Родителей у Максима не было дома. Они ушли куда-то в гости по его просьбе — он сам сказал, проходя мимо, — небрежно, как говорят о погоде: «Предки ушли, сегодня — наша туса». И Вера подумала: вот, он — взрослый. Он — может. Может — попросить родителей уйти. Может — собрать друзей. Может — налить шампанское. Может — пригласить девочку. Взрослый. А она — нет. Она — гостья. Пришла — и сидит, сложив руки на коленях, и не знает, куда деть себя, и ждёт — чего? Чего-то. Может — что он сядет рядом. Может — что он улыбнётся. Может — что скажет что-то, от чего — станет легче. Теплее. Понятнее.

Она не знала, что «наша туса» — это не «наша». Что вечеринка — не ради друзей. Что шампанское — не ради праздника. Что всё — ради неё. Или — не ради неё, а — ради того, что он собирался с ней сделать. Она не знала. Не могла знать. Ей было пятнадцать, и она верила, что если человек улыбается — он добрый. Что если наливает — он друг. Что если говорит «приходи» — значит, хочет видеть. Не знала, что «приходи» — это приманка. Что «приходи» — это ловушка. Что «приходи» — это — начало конца.

— Все умеют, — он улыбнулся. — Подожди, сейчас налью.

Он ушёл на кухню, и Вера осталась одна, вернее — среди людей, но одна. Она сидела, сложив руки на коленях, и разглядывала комнату. На стене — ковёр с оленями, как у бабушки. На полке — книги, которые, судя по пыли, никто не трогал. Телевизор включён, но звук убавлен. Кто-то пел в караоке — плохо, фальшиво, но все хлопали.

Родителей у Максима не было дома. Они ушли куда-то в гости по его просьбе — он сам сказал, проходя мимо:

— Не парься, предки не придут. Сегодня наша туса.

Вера не знала, что в его голосе за этой небрежностью прячется расчёт. Что «предки не придут» — это не радость, а план. Что «наша туса» — это не «наша», а его. Что вечеринка — не ради друзей, а ради неё. Или — не только ради неё. Она не знала. Она стояла в чужой квартире, среди чужих людей, с шампанским в стаканчике, и чувствовала: я — взрослая. Я — на вечеринке. У меня есть платье, и косметика, и подарок, и парень — ну, не парень, но почти — который говорит «ты ничего». Я — взрослая.

В пятнадцать лет «взрослая» — это самое опасное слово. Потому что «взрослая» — значит «могу». Могу пить. Могу остаться. Могу не звонить маме. Могу — не до десяти. А «могу» — это «разрешила себе». А потом — «он может». И — всё.

— Не парься, предки не придут. Сегодня наша туса.

Вера не знала, что в его голосе за этой небрежностью прячется расчёт.

Глава 5. Портвейн

Часа через два шампанское закончилось, и кто-то из парней — здоровый, с бритой головой, которого все называли Серый — вытащил бутылку портвейна.

— Ну что, переходим на тяжёлую артиллерию? — он ухмыльнулся и хлопнул бутылкой по столу.

— Давай! — закричали все.

Разлили по стаканам. Портвейн был тёмно-рубиновым, густым, пахнул чем-то тяжёлым и сладковатым, как забродившее варенье. Максим протянул стакан Вере:

— На, попробуй. Это лучше шампанского.

Вера понюхала, поморщилась:

— Я не хочу, правда…

— Да ладно тебе, Вер, — он улыбнулся так, будто это была игра. — Выпей за моё здоровье. Уже второй раз за сегодня, ха-ха.

Она сделала глоток. Терпкий, горький вкус обжёг горло, и она закашлялась.

— Фу, — она поставила стакан. — Это противно.

— Привыкнешь, — он пододвинул стакан ближе. — Давай, ещё чуть-чуть. За именинника — надо.

Вера посмотрела на него. Он улыбался, и в этой улыбке было что-то такое, от чего хотелось ему угодить. Чтобы он снова посмотрел на неё. Чтобы снова сказал «Вер», а не «эта

девочка». Она выпила.

Портвейн был тёмно-рубиновым, густым, как кровь. Вера смотрела, как он переливается в стакане, и думала: красиво. Красиво, как гранатовое варенье, которое бабушка варила на Новый год. Она не знала, что красивое может быть опасным. Не знала, что густое и сладкое — это ловушка, в которую заманивают, как муху в сироп.

Максим сел рядом — ближе, чем раньше. Их колени соприкасались. Вера чувствовала тепло его тела сквозь ткань джинсов, и это тепло кружило голову сильнее, чем портвейн.

— Вер, ты чего такая серьёзная? — он наклонился к уху, и дыхание было тёплым, с винным запахом.

— Я не серьёзная. Я просто…

— Просто что?

— Не знаю, — она рассмеялась, и смех был нервным, высоким, не её. — Я не знаю.

— Расслабься. Это же вечеринка. Тут все расслабленные.

— Я не умею расслабляться.

— Научишься, — он улыбнулся и поднёс стакан к её губам. — Давай. За нас. Я же сказал — за нас.

Через полчаса Максим снова подошёл со стаканом:

— Давай, ещё один. За нас.

— За нас? — Вера удивилась.

— Ну, за тебя и за меня. Ты ведь пришла, значит — мы уже друзья, да?

— Друзья, — она улыбнулась и выпила.

После второго стакана портвейна ей стало дурно. Голова закружилась, комната поплыла, звуки стали какими-то тягучими, будто кто-то замедлил плёнку. Лица людей расплылись, голоса стали далёкими, будто из-под воды. Вера схватилась за край дивана, пытаясь удержаться.

— Мне… мне что-то нехорошо, — прошептала она.

Светка рядом уже спала, уронив голову на стол. Никто не обратил внимания.

— Макс… мне надо домой, — Вера попыталась встать, но ноги не слушались. Пол качнулся, как палуба, и она схватилась за край дивана.

— Куда тебе домой? — Максим положил руку ей на плечо. Тяжёлую, горячую. — Тебе плохо. Ложись. Отдохни. Потом пойдёшь.

— Но мама сказала до десяти…

— Ну позвони маме. Скажи — у подружки останешься. Все так делают.

— У меня нет подружки тут. Светка… Светка же…

Она обернулась — Светка спала, уронив голову на стол, и от неё шёл запах портвейна и пота. Не подружка — не сейчас, не в этом состоянии.

— Вот видишь, — Максим сказал мягко, убедительно, как взрослый уговаривает ребёнка. — Некому тебя проводить. Лежи. Я проверю. Не волнуйся.

Вера кивнула. Не потому что согласилась. Потому что не было сил спорить. Тело было ватным, голова — гудящей, а

воля — растворённой, как сахар в горячем чае. Она встала — нет, её поставили. Подняли за локоть. Повели по коридору, который качался, как мост на ветру.

— Сюда. Ложись. Отдыхай.

Голос был ласковый. Руки — нет.

Комната была полутёмной, пахла старыми книгами, деревом и чем-то цветочным — может, мамины духи. Кровать была широкая, застеленная белым покрывалом. Вера легла, не снимая платья, только скинула туфли. Закрыла глаза.

«Только немного полежу, — подумала она. — Потом встану и пойду домой. Мама сказала до десяти…»

Шум из зала постепенно затихал, превращаясь в далёкий, невнятный гул. Веки словно налились свинцом. Она провалилась в полудрёму, где реальность смешивалась с обрывками снов: бабушка варит кашу, мама смеётся, лагерь, костёр, палатки, его улыбка, его голос…

Глава 6. Зверь

В этом полусознательном состоянии она почувствовала, как кто-то гладит её ноги. Движения были настойчивыми, жадными, и от этого прикосновения по коже пробежал ледяной холодок. Вера хотела открыть глаза, но веки были тяжёлыми, будто налитыми бетоном.

«Что это? — подумала она. — Сон? Наверное, сон…»

Потом чьи-то руки потянулись к груди, и прикосновение стало грубым, жадным, без нежности. Вера попыталась отстраниться, сдвинуться, но тело будто не слушалось, будто чужое.

— Макс?.. — прошептала она, и голос был таким слабым, что она сама его едва услышала.

— Тише, тише, — ответил голос. Его голос. — Всё хорошо.

Она чувствовала, как он стягивает с неё платье, задирая ткань, не заботясь о том, что она может чувствовать. Расстёгивает лифчик — резко, одним движением. Снимает трусы — без всякой церемонии, без слов, будто она была не человеком, а вещью, которую можно взять, не спрашивая.

Страх переполнил её. Он был не таким, как раньше, не тем детским страхом — от темноты, от страшной сказки, от грозы. Этот страх был новый, взрослый, звериный. Он сковал горло, не давая крикнуть. Он парализовал тело, не давая

пошевелиться. Вера хотела сказать «нет», «стой», «не надо», но слова застряли где-то глубоко, в самой глотке, и не шли наружу.

В полусне Вера слышала голоса. Далёкие, приглушённые, как будто из-за стены. Кто-то сказал:

— Она в отруе?

— Не совсем. Но почти.

— Уверен, что не проснётся?

— Не проснётся. Спокойно.

Смех. Тихий, короткий. Потом — шаги. Удаляются. Дверь.

Вера не поняла этих слов. Не запомнила. Они прошли сквозь неё, как свет сквозь стекло — не задев, не задержавшись. Сознание было тёмным, вязким, как болото, и мысли тонули в нём, не успевая оформиться.

Она чувствовала только прикосновения. И боль. И чьё-то дыхание — частое, хриплое, чужое. И вес — тяжёлый, давящий, как бетонная плита, которая ложится на грудь и не даёт дышать.

Максим действовал как хищник. В его движениях не было ни капли заботы, ни нежности, ни тепла. Он был неуклюж, груб, быстр — будто боялся, что она очнётся, что кто-то войдёт, что время закончится.

Он раздвинул ей ноги. Вера почувствовала острую, пронзительную боль внизу живота — такую резкую, что мир на секунду стал белым. Она всхлипнула, но из горла вышел

только тихий, сдавленный звук, который никто не услышал.

Перед ней, в полусознательном состоянии, было дёргающееся над ней тело. Она видела его размыто, как в тумане, и ей было больно — физически больно, и ещё больнее было от того, что она никак не могла сопротивляться. Она была придавлена его телом, и ей некуда было деться, не на кого позвать, не к кому обратиться.

Она не знала, сколько это длится. Минуты? Часы? Ей казалось, что это длится вечность, что время остановилось, и она застряла в этом мгновении навсегда, как муха в янтаре.

Потом сознание померкло. Боль и стыд, и обида, и непонимание — всё смешалось в один тёмный комок, и она ушла в забвение.

В какой-то момент — может, через минуту, может, через час — Вера попыталась открыть глаза. Веки были тяжёлыми, будто налитыми свинцом, но она смогла — приоткрыла, чуть-чуть, и увидела: тёмный потолок, прямоугольник света от приоткрытой двери, и над собой — лицо. Его лицо. Максима. Близко, очень близко, размытое, как в тумане.

Он не видел, что она открыла глаза. Или не хотел видеть. Он смотрел вниз — на её тело, на то, что делал, — и в этом взгляде не было ни вины, ни сомнения, ни нежности. Только — жадность. Та же, с какой Серый смотрел на бутылку портвейна. Та же, с какой Кабан — нет, она ещё не знала этого имени — будет смотреть на неё через два года. Жадность. Взять. Использовать. Бросить.

Вера закрыла глаза. Не потому что хотела. Потому что не могла держать открытыми. И в темноте за закрытыми веками она сделала единственное, что могла — ушла. Не телом — тело осталось, лежало, терпело. Душой. Ушла внутрь себя, в самый глубокий, самый тёмный угол, где было тесно и холодно, но — безопасно. Где не было рук, и дыхания, и боли. Где была только тишина, и темнота, и Вера — маленькая, свернувшаяся калачиком, как зародыш, — которая ждала, пока это закончится.

Она не знала, сколько это длилось. Время в том углу не существовало. Там не было минут, часов, дней. Там было только «до» и «после». И «до» становилось «после» — медленно, мучительно, как змея меняет кожу.

Глава 7. После

Когда она пришла в себя, в комнате было тихо. Музыка из зала не гремела — либо вечеринка закончилась, либо все ушли, либо она просто перестала это слышать. Вера лежала, сжавшись в комок, подтянув колени к груди, натянув на себя покрывало, и не могла пошевелиться. Не потому что не было сил — а потому что не знала, что делать дальше.

Она не могла смотреть Максиму в глаза. Даже думать о нём — и то было больно. Его имя, которое ещё вчера грело, теперь обжигало, как прикосновение к раскалённому.

Ей не понравилось первое ощущение «любви». Не понравилось взросление. Не понравилось превращение в девушку. Всё, о чём она мечтала, — нежность, тепло, чьё-то бережное отношение, — всё это было грубо растоптано в один вечер, в одной тёмной комнате, одним человеком, которому она была не нужна.

Она не так представляла это. Она представляла иначе: цветы, долгие разговоры, улыбки, чьи-то руки, которые бережно держат её за плечи, и голос, который говорит: «Ты мне очень дорога». Она представляла это так, как в книжках, как в фильмах, как бабушка рассказывала про дедушку: «Он три года за мной ухаживал, букеты таскал, стихи писал, а потом пришёл к моему отцу и сказал: „Вашу дочь, пожалуйста"».

А получилось — тёмная комната, запах портвейна, грубые

руки, и тело, которое болит.

Она лежала и думала — нет, не думала, мысли не шли. Мысли застряли, как заевшая плёнка, и крутились на одном месте: больно, стыдно, почему, за что, больно, стыдно. Она не могла плакать — слёзы кончились, высохли, будто их никогда не было. Глаза горели, веки распухли, но сухо. Глухо. Пусто.

Где-то в соседней комнате кто-то включил телевизор. Звук — далёкий, приглушённый стенами, но Вера слышала: реклама, потом новости, потом опять реклама. Мир жил. Мир не знал, что в этой комнате, на этой кровати, под этим потолком — девочка, которой больше нет. Мир не остановился. Не заметил. Не свернул горы. Не погасил фонари. Просто — продолжил, как будто ничего не случилось.

Вера подтянула колени к груди, обхватила их руками — крепко, до боли, будто пыталась удержать себя, чтобы не рассыпаться на части. Она чувствовала: если разожмёт руки — разлетится. Как стекло, как фарфор, как та кукла, которую она уронила в детстве и которая разбилась на семь частей, и бабушка клеила её суперклеем, но трещины остались, и кукла стала другой — целой, но навсегда надломленной.

Вера лежала и плакала. Тихо, беззвучно, как умеют плакать только те, кому некому сказать: «Всё будет хорошо».

Где-то далеко, дома, мама накрывала на стол к ужину. Бабушка проверяла, закрыт ли газ. И обе ждали. Ждали, что Вера вот-вот позвонит и скажет: «Мам, я иду, открой дверь».

Но Вера молчала.

Мама позвонила — в одиннадцать, в двенадцать, в час. Телефон — недоступен. У Максима был стационарный, но Вера не знала номер. Она знала адрес — но не знала, как дойти пешком, потому что приехала на машине со Светкой, и дорогу не запомнила. Она — застряла. Между «уже не там» и «ещё не здесь». Между — вечеринкой и домом. Между — «до» и «после».

Бабушка не ложилась. Сидела на кухне, в своём халате, с чашкой чая, и слушала — шаги на лестнице, звонок, дверь. Каждые полчаса вставала, подходила к окну, смотрела — нет ли? Нет. Улица — пустая, тёмная, фонари мигают. Веры — нет.

— Наташ, может, в милицию? — бабушка позвонила маме, и голос был — не ровный, нет. Дрожащий.

— Мам, может, она у подружки осталась? У Ленки?

— Я Ленке звонила. Ленка сказала, что Веры нет.

— А Светка?

— Светкин номер я не знаю.

— Господи, — бабушка села на табуретку, и чашка дрожала в руке. — Господи, сделай, чтобы с ней всё было хорошо.

Бабушка молилась — не часто, только когда — очень. И сейчас — молилась. Тихо, шёпотом, в кухню, в потолок, в — никуда. «Господи, сделай, чтобы с ней всё было хорошо. Чтобы нашлась. Чтобы пришла. Чтобы — живая».

Вера не знала этого. Не слышала. Лежала в тёмной комнате, на чужой кровати, и — молчала. И бабушка молчала. И мама молчала. И мир — молчал. Все — молчали. И в этом молчании — было всё: страх, любовь, бессилие, надежда. Всё — без слов. Всё — в тишине. Той тишине, которая бывает, когда рушится мир, а обломки — ещё не упали, а уже — рушатся. И все — слышат треск. И — молчат.

Но Вера молчала.

Вера лежала и слушала тишину. Тишина была не пустой — она была полной, как вода, которая затопляет комнату снизу, медленно, неотвратимо. Тишина заполняла всё — уши, лёгкие, желудок, сердце — и давила, и не было воздуха, и не было звука, и не было ничего, кроме этой тяжёлой, вязкой, мутной тишины, которая была хуже любого крика.

Она подумала: если бы кто-нибудь сейчас вошёл, сел рядом и сказал — что угодно, хоть «привет», хоть «идиотка», хоть «ну что ты» — было бы легче. Но никто не вошёл. Максим не вошёл — он был в зале, или на кухне, или ушёл, Вера не знала и не хотела знать. Остальные — кто где. Спали, курили, пили остатки. Им было всё равно. Ей — тоже было всё равно. Только — больно. И стыдно. И пусто.

Глава 8. Бег

Вера открыла глаза.

В комнате было темно. Не той тёплой темнотой, какая бывает дома, когда сквозь шторы пробивается уличный фонарь и бабушкины часы на стене тихо тикают в ночи. Эта темнота была чужая, плотная, липкая, как туман над болотом. Потолок — незнакомый. Запах — незнакомый. И тело — чужое, будто не её.

Она лежала на боку, подтянув колени к груди, натянув на себя покрывало, и первые секунды не понимала, где она. Потом — как молния — вспомнила всё. И тело, и боль, и руки, и голос, и тьму, в которую она провалилась.

Сердце заколотилось так, что она услышала его в ушах. Дыхание стало частым, рваным, как у загнанного зверька.

Тихо. Тихо. Не дыши громко.

Она повернула голову. Рядом — никого. Место на кровати рядом с ней — смято, но пусто. Ушёл. Когда? Сколько она спала? За окном — ни зги. Ни рассвета, ни фонаря, только чёрное стекло, в котором отражался прямоугольник приоткрытой двери.

Надо уходить. Сейчас. Немедленно.

Вера села на кровати. Тело отозвалось тупой болью внизу живота, и она сжала зубы, чтобы не застонать. Руки затекли, пальцы не слушались. Она нашарила в темноте платье

— скомкано на полу, будто тряпка, будто кто-то вышвырнул его, не глядя. Лифчик — на спинке стула. Трусы — под кроватью. Она одевалась дрожащими руками, путаясь в застёжках, нервно оглядываясь на дверь, будто боялась, что кто-то войдёт.

Платье было мятое, в складку застрял волос — не её, тёмный, короткий. Вера выдернула его, словно обожглась, и бросила на пол.

Туфли стояли у двери, ровно, будто она сама их так поставила — будто знала, что придётся бежать. Она сунула ноги в туфли, не застёгивая ремешки, и на цыпочках вышла из комнаты.

Коридор был длинный, тёмный. Из зала доносился храп — кто-то спал на диване, раскинув руки. На столе — пустые бутылки, стаканчики, тарелки с засохшей нарезкой, чипсы, рассыпанные по скатерти. Пепельница, полная окурков. Запах — тяжёлый, кисловатый, перегар и табак. Будто здесь не жили, а только гуляли, и жизнь закончилась вместе с вечеринкой.

Вера шла, прижимаясь спиной к стене, держась за неё рукой, потому что ноги подкашивались. Мимо кухни, мимо вешалки, мимо тумбочки, на которой лежал органайзер — тёмно-синий, с яркой окантовкой, с ручкой, вставленной в паз. Она увидела его, и внутри что-то сжалось — не обида, нет. Что-то другое, более глубокое, более горькое. Будто этот органайзер был последней вещью, которую она сделала по-

настоящему, от сердца, и это сердце растоптали вместе с ней.

Она не взяла его. Оставила лежать.

В коридоре Вера остановилась. Из-за двери зала доносился храп — тяжёлый, ровный, как будто здесь не произошло ничего, как будто это был обычный вечер, обычная вечеринка, обычная ночь. Она стояла, прижавшись спиной к стене, и слушала этот храп, и думала: как можно спать после этого? Как можно лежать, и дышать, и храпеть, и знать, что в соседней комнате девочка, которую ты… — и спать?

Может, он не знал. Может, он думал, что всё нормально. Что она согласилась. Что «пьяна — значит, хочет». Так работала логика. Так работало оправдание. Ты напоил, ты взял, ты ушёл — и ничего не было. Ничего. Кроме крови на простыне, которую, может быть, утром увидит его мать и скажет: «Макс, кто тут у тебя был?» — а он пожмёт плечами и скажет: «Да так, подружка. Ничего особенного».

Ничего особенного.

Вера сжала кулаки. Ногти впились в ладони — больно, но эта боль была другой, чистой, не грязной, и от неё становилось легче. Она стояла в тёмном коридоре чужой квартиры, босая, в мятом платье, с путаницей в голове и пустотой внутри, и думала: уходить. Сейчас. Тихо. Не разбудить.

Дверь. Замок. Щёлк. Тихо. Она открыла дверь, выскользнула на лестничную клетку и прикрыла за собой, стараясь не хлопнуть. Постояла секунду, привалившись к стене, и выдохнула — длинно, дрожаще, как после подводного плава-

ния.

Всё. Уходишь. Беги.

На улице было темно и холодно. Тот самый октябрьский холод, который пробирает до костей, забирается под платье, под кожу, в самое нутро. Вера стояла на крыльце, босые ступни на ледяных ступеньках — туфли она держала в руках, потому что на каблуках бежать было невозможно.

Город спал. Ни единого огня в окнах, ни единой машины на дороге. Только фонари, редкие, тусклые, бросающие на асфальт жёлтые круги, похожие на лужи. И тишина — такая плотная, что слышно было, как где-то далеко, за кварталами, лает собака.

Вера сунула ноги в туфли и пошла. Потом — побежала.

Она не знала, который час. Три? Четыре? До рассвета ещё далеко, а значит — до десяти она должна была прийти вчера. Вчера. Это слово звучало как приговор. Вчера мама ждала. Вчера бабушка смотрела на часы. Вчера они обе сидели на кухне, и мама говорила: «Ну где она? Ну позвони хоть», — а бабушка отвечала: «Не переживай, Наташа, подружку, наверное, задержала. Вера — девочка хорошая, с ней ничего не случится».

С ней ничего не случится.

Фраза крутилась в голове, как заевшая пластинка. Вера бежала мимо спящих домов и закрытых ларьков. Пустые автобусные остановки с облупившимися скамейками мелькали, как кадры плохого кино.

Оступилась — туфля подвернулась, Вера чуть не упала, успела схватиться за ограду. Ободрала руку, почувствовала, как саднит кожа. Не остановилась. Яма в асфальте — полетела вперёд, сгруппировалась, ударилась коленом. Встала и снова побежала.

Мимо промчался одинокий автомобиль — «Волга», серая, с мутными фарами. Вера шарахнулась в сторону. Водитель не обратил на неё внимания. Может, принял за пьяную — девочка в мятом платье, на шпильках, бегущая по пустой улице в четыре утра. В девяностых таких было много.

Мимо школы — тёмной, тихой, с погашенными окнами. Мимо ларька, где она покупала органайзер — закрытого, с железными ставнями. Мимо детского сада, за оградой которого качели висели неподвижно. На одном сиденье зацепился обрывок красной ленты — будто кто-то повязал её на удачу, а потом забыл. Вера мельком заметила, и ей стало ещё холоднее.

Дыхание сбилось. Бок кололо, как ножом. Ноги гудели. Но она бежала, потому что стоять было страшнее, чем бежать. Стоять — значит думать. А думать она не могла. Не сейчас. Сначала — домой. Сначала — закрыться. Спрятаться. Забиться в свою комнату, в свою кровать, под своё одеяло, и пусть мир подождёт за дверью.

Вот и её дом. Панельная пятиэтажка, серая, как все. Окно на втором этаже — тёмное. Бабушкино окно на третьем — тоже тёмное. Спят. Или не спят — может, сидят на кухне,

ждут, смотрят на дверь.

Щелчок. Замок провернулся. Дверь открылась. Вера ввалилась внутрь, захлопнула за собой — так громко, что в прихожей зазвенела полка с шапками, — скинула туфли, не расстёгивая, и бросилась по коридору в свою комнату.

— Веруля? — голос мамы, сонный, встревоженный, из зала. — Это ты?

Вера не ответила. Она вбежала в комнату, прыгнула на кровать, уткнулась лицом в подушку и заревела. Не тихо, не беззвучно, как в той тёмной комнате. Здесь, дома, в своей подушке, она ревела в голос — зло, горько, захлёбываясь, как ревут маленькие дети, когда больно и страшно и нет слов, чтобы объяснить.

— Вера?! Вера, что случилось?! — мама уже была в коридоре, стучала в дверь.

— Внученька, открой, — голос бабушки, тихий, испуганный. — Внученька, что с тобой?

Вера не отвечала. Натянула одеяло на голову, зажмурилась, и ревела, и ничего не слышала, кроме собственного крика в подушку и сердца, которое билось так, будто хотело вырваться наружу.

— Наташа, может, в милицию? — шептала бабушка за дверью.

— Мам, не знаю… Она же не открывает. Вера! Вера, открой дверь, ну пожалуйста!

— Не надо милицию, — бабушкин голос дрогнул. — Она

же девочка. Девочке надо выговориться. Она сама откроет, когда захочет.

— Может, её обидели? Может, кто-то…

— Не пугай себя, Наташа. Может, поссорилась с кем. Она растёт, это бывает. Не дави на неё.

Вера слышала всё это сквозь подушку, сквозь слёзы, сквозь вой, который она не могла остановить. Слышала, как мама и бабушка постояли ещё, как мама ещё раз тихо постучала:

— Веруль… я здесь. Если захочешь — я здесь.

Потом шаги. Тихие, осторожные, как будто они боялись её спугнуть. Потом в зале зашёл телевизор. Тихо, на минимальной громкости. Бабушка с мамой не стали настаивать, не стали ломиться в дверь. Они просто были рядом, за стеной, и ждали.

Вера влетела в подъезд — дверь была не заперта, сломанный замок, как всегда. Взлетела по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. В груди колотило так, что казалось, рёбра вот-вот треснут. Остановилась перед своей дверью. Руки тряслись. Ключ звякал о металл, соскальзывал, снова звякал.

— Ну давай, ну давай, — шептала она, и слёзы текли по лицу, и она не понимала — от холода, от страха или от чего-то другого, чего не хотела называть.

Она пробежала мимо школы — тёмной, тихой, с погашенными окнами. Той самой школы, где ещё вчера — или позавчера, или вечность назад — она стояла у расписания, и

Максим подошёл, и сказал «привет», и улыбнулся. И мир был — весь. Весь — впереди. А теперь — школа тёмная, пустая, будто умерла вместе с тем миром. Будто тот мир — кончился, а школа — просто не заметила, стоит, как памятник, и не знает.

Вера бежала, и туфли жали, и ноги были босые — она скинула туфли на полпути, потому что не могла больше. Бетон — холодный, шершавый, и каждый камешек — как иголка. Но она бежала. Босиком. По тёмному городу. В мятом платье. С пустотой внутри.

Вера лежала, свернувшись калачиком, мокрая от слёз, и думала. Рвано, путано, как в бреду. Мысли лезли одна на другую, обрывались, начинались снова.

Какой он подонок.

Какой подлец.

Он всё знал.

Специально позвал. Специально наливал.

Знал, что я не умею пить. Знал, что мне некому пожаловаться.

Всё рассчитал. Как хищник.

Она засунула кулак в рот и прикусила, чтобы не закричать.

А я? Я — дура. Дура. Идиотка.

Пришла, как овца на бойню. Подарок ему принесла. Органайзер с ручкой. Органайзер!

Будто ему вообще что-то было нужно от меня, кроме…

Слёзы снова полились, но она уже не ревела — тихо, беззвучно, как капает вода из-под крана, когда забыл его закрыть.

Мама сказала: «До десяти». Бабушка сказала: «Мало ли».

Вера думала — рвано, путано, как в бреду. Мысли лезли одна на другую, обрывались, начинались снова. «Домой. Скорей домой. Но что я скажу? Что я скажу маме? А бабушке? „Что случилось, внученька?" — а я… я не могу. Не могу сказать. Не могу — произнести. Если произнесу — будет по-настоящему. А пока — молчу — может, не было. Может, сон. Может, показалось. Может, я просто переспала в чужой квартире и прибежала домой. Просто — переспала. Ничего не было. Ничего.»

Но было. Она знала — было. Тело знало. Тело — помнило. Тело — болело. И от этой боли — бегать было легче, чем думать. Потому что бежать — можно. А думать — нельзя. Думать — значит признать. А признать — значит — умереть. Не физически, нет — хуже. Внутри. Той Вере, с косичками, — умереть. А этой — новой, незнакомой, в мятом платье — жить. Жить — с тем, что сделали. Жить — с тем, что осталось. Жить — в этом «после», в котором нет «до».

А я даже позвонить не смогла. Даже позвонить.

Они ждали. Они, наверное, с ума сходили.

*Я уже никогда не буду прежней. Никогда. Той Верой, которая бегала на дискотеки и крутилась перед зеркалом, —

больше нет. Она осталась там, в той комнате, на той кровати, под тем потолком. А я — это не я. Это кто-то другой.*

Бабушка говорила: «Главное, чтобы внутри была красивая». А внутри теперь — пусто. И грязно. И больно. И ничего красивого нет.

Телевизор в зале бормотал что-то — новости, реклама, утренние передачи. Рассвет подкрался незаметно: за окном синева стала серой, серая — светлой, и вот уже на стене проступили обои с цветочками, которые бабушка клеила ещё когда Вера была маленькой.

Вера смотрела на эти обои и не видела их. Глаза горели, веки опухли, тело ломило — будто она не бежала через полгорода, а таскала мешки с цементом.

Наревевшись, она уснула. Не ровно, не спокойно — провалилась в сон, как в чёрную воду, и сон был такой же тёмный, вязкий, без сновидений, будто сознание решило: хватит. Хватит на сегодня. Отдыхай.

Дверь в её комнату осталась закрытой. Мама и бабушка ходили по квартире на цыпочках, говорили шёпотом, как в больнице.

Бабушка остановилась в коридоре, разглядывая брошенные туфли:

— Платье мятое, туфли грязные… И ревела не по-детски, Наташа.

Мама молчала, теребя край халата.

— Это Максим, да?

— Не гадай. Пусть сама скажет, когда сможет. Мы тоже не всё мамам рассказывали, помнишь?

Мама замолчала. Бабушка тихо пошла на кухню, поставила чайник. Вера спала, свернувшись калачиком, вжимаясь в подушку, как будто пыталась спрятаться в ней от всего мира.

На кухне бабушка сказала:

— Пусть спит. Когда проснётся — я ей борщ разогрею. Она любит мой борщ.

И обе замолчали. Тишина стала такой плотной, что слышно было, как капает вода из крана, и как тикают бабушкины часы на стене, и как за окном просыпается город, в котором ничего уже не будет как раньше.

Глава 9. Тень

В школе Вера стала тенью. Не в том смысле, что невидимой — её видели, ещё как видели. А в том, что она перестала быть человеком. Стала — тенью. Тем, что повторяет за другими, что не имеет собственного голоса, что лежит на стене, плоское, серое, без лица.

Ленка пыталась поговорить. Несколько раз подходила — в коридоре, на перемене, у гардероба:

— Вер, ну расскажи. Что случилось?

— Ничего.

— Вер, я же вижу. Ты сама не своя.

— Я — своя. Всё нормально.

— Нормально? Ты в школу приходишь, как зомби. Не ешь, не смеёшься. Что с тобой?

— Лен, отстань. Пожалуйста.

Ленка отступала. Обижалась. Потом снова подходила. Вера отталкивала — не злостью, а молчанием, которое было хуже злости. Ленка не знала, что молчание — единственное, что у Веры осталось. Что если она откроет рот — всё вырвется, хлынет, затопит, и потом не остановить. Поэтому — молчит. Молчит, как плотина, за которой — океан.

Вера ходила потихоньку в школу.

Пыталась быть невидимой. Раствориться в толпе, стать тенью, прошмыгнуть мимо — незаметной, беззвучной, как

пылинка, которую никто не замечает, пока она не упадёт на стол. Но люди замечали. Люди всегда замечают, когда кому-то плохо.

В коридоре на неё косились. За спиной шептались. Девчонки из параллели — те, с которыми она ещё недавно стояла у расписания и хихикала — теперь отводили глаза, а когда она проходила мимо, замолкали, и в этом молчании было что-то тяжёлое, липкое, как мокрый снег на воротнике.

— Это та, которая у Максима была, — шептала кто-то за её спиной. Вера слышала. Она всегда слышала.

— Да ладно, она сама напросилась, — отвечал другой голос, девичий, знакомый. Может, Ленкин. А может, нет.

Вера сжимала ремень рюкзака и шла дальше. Не оборачивалась. Не отвечала. Глаза — в пол. Спина — прямая, но как будто чужая, будто её держал кто-то другой, а она лишь двигалась, как кукла на ниточках.

Дни шли — одинаковые, серые, как стены панельных домов. Вера вставала, шла в школу, сидела на уроках, возвращалась, ложилась на кровать, смотрела в потолок. Каждый день — копия предыдущего. Будто кто-то поставил жизнь на паузу — и забыл её снять.

Однажды, на литературе, Маргарита Фёдоровна задала сочинение: «Мой герой». Вера написала — не про Пушкина, не про Достоевского, не про кого-то из учебника. Она написала про бабушку. Про то, как бабушка вставала в шесть, варила кашу, будила песенкой. Про то, как бабушка говорила:

«Главное, чтобы внутри была красивая». Про то, как бабушка клеила обои с цветочками, и клей пах варёным крахмалом, и Вера, маленькая, стояла рядом и подавала обои, и они вместе приклеивали, и получалось криво, но — вместе.

Маргарита Фёдоровна прочитала, сняла очыки, протёрла их — долго, тщательно, будто оттягивала момент. Потом сказала:

— Верочка, это очень искренне. Ты пишешь так, будто прощаешься.

Вера не ответила. Забрала тетрадь и вышла.

На физике она сидела за последней партой. Учитель что-то объяснял у доски — формулы, схемы, что-то про электричество, — но Вера не слышала. Она смотрела в окно, на голые деревья, на серое небо, и думала: «Если я буду сидеть тихо, очень тихо, может, они забудут. Может, они перестанут смотреть. Может, всё забудется».

Но ничего не забывалось.

Каждый день — как предыдущий. Коридор, шёпот, косые взгляды. Столовая — она перестала туда ходить, потому что не могла сидеть за общим столом, пока кто-то рядом шепчет: «шлюха». Она ела в туалете, стоя у раковины, — булочку, спрятанную в рюкзаке. Потом бросила и булочку, потому что её начало тошнить.

Перемены были худшим. Она стояла у стены, прижавшись к ней спиной, и ждала звонка. Мимо проходили мальчишки, кто-то толкал её — может, случайно, может, нет. Один раз

кто-то сказал вполголоса:

— Ну чего, Вера, ещё на днюху сходишь?

Дома было не лучше и не хуже — просто другое. Мама молчала, бабушка молчала. Они знали — Вера им не рассказала, но они знали. Матери всегда знают. Бабушки — тем более. Никто не спрашивал, никто не давил, и от этого молчания было ещё тяжелее, чем от шёпота в школе.

Однажды вечером, через неделю, мама пришла в Верину комнату. Села на край кровати — осторожно, будто боялась нарушить хрупкий, невидимый барьер, который Вера выстроила между собой и миром. Сидела, молчала, теребила край халата. Потом — тихо, едва слышно:

— Вер, я не буду спрашивать. Но если захочешь — я рядом. Всегда — рядом.

Вера не ответила. Лежала, смотрела в потолок. Мама посидела ещё минуту, встала, вышла. У двери обернулась:

— Я люблю тебя. Что бы ни случилось — люблю.

Дверь закрылась. Вера закрыла глаза. И впервые — после той ночи — заплакала. Не в вой, не в крик — тихо, каплями, как дождь за окном. Слёзы катились по вискам, в уши, на подушку, и Вера не вытирала их, и не прятала, и не сдерживала. Просто — плакала. И от этих слёз — стало не легче, нет. Но — чуть-чуть — тише. Будто кто-то приоткрыл кран, и давление — чуть-чуть — упало. Не сильно. Но — чуть-чуть.

Она не посмотрела. Не ответила. Пошла на урок.

Вера приходила домой, закрывалась в комнате, ложилась на кровать и смотрела в потолок. Обои с цветочками — те самые, которые бабушка клеила, когда Вера была маленькой. Цветочки жёлтые на белом фоне. Раньше они казались весёлыми. Теперь — блёклыми, мёртвыми, будто выцвели за одну ночь.

За окном шелестел октябрьский дождь, капли ползли по стеклу, как прозрачные насекомые, и Вера думала: может, если дождь будет идти достаточно долго, он смоет всё — и шёпот, и взгляды, и эту тяжесть, которая лежала на ней, как мокрое одеяло. Но дождь кончался, а тяжесть оставалась.

Глава 10. Живот

Сначала Вера не понимала, что происходит. Тошнота — ну, мало ли, съела что-то. Усталость — ну, устала, бывает. Она не следила за циклом, не считала дни, не думала о таких вещах, потому что ей было пятнадцать и думать о таких вещах ещё не научили.

Потом стало ясно.

Живот. Сначала — едва заметный, как будто она плотно поела. Потом — больше, круглее, очевиднее. Прятать стало невозможно. Школа — тонкая ткань блузки, которая обтягивала то, что нельзя было обтягивать. Взгляды — уже не косые, а прямые, в упор, без стеснения. Шёпот — уже не за спиной, а в лицо:

— Вер, ты чё, беременная что ли?

Она молчала. Краснела. Уходила.

Однажды Ленка — её Ленка, подружка, с которой они вместе бегали на дискотеки — подошла в коридоре и сказала тихо:

— Вер, это правда?

— Что — правда?

— Ну… что ты… от Максима?

Вера посмотрела на неё. В глазах Ленки не было злости, не было насмешки — было любопытство, смешанное с жалостью, и от этой жалости хотелось плакать.

Мама молчала два дня. Два дня — ни слова, ни вопроса, ни упрёка. Просто — молчала. Ходила по квартире, готовила еду, мыла посуду, смотрела телевизор — и молчала. Вера чувствовала это молчание кожей, как давление — не сильное, но постоянное, как воздушная камера, в которой понемногу выкачивают воздух.

На третий день мама села напротив, за кухонный стол, и сказала — тихо, без предисловия:

— Вер, я не буду спрашивать, кто. Я не буду спрашивать, как. Но я спрашиваю: ты понимаешь, что будет дальше?

Вера смотрела на маму — на её лицо, которое постарело за три дня на три года, на руки, которые теребили край халата, на губы, которые дрожали, хотя она пыталась их сдержать.

— Я понимаю, — сказала Вера.

— И что?

— Я хочу оставить.

Мама закрыла глаза. Открыла. Встала. Вышла из кухни. Вера слышала, как она плачет в коридоре — тихо, сдавленно, в ладонь, чтобы бабушка не услышала.

Но бабушка услышала. Бабушка всегда слышала.

— Ленка, я не хочу об этом говорить.

— Ну… ладно. Я просто… Если что, я тут, окей?

Ленка кивнула и ушла. Вера смотрела ей вслед и думала: «Тут. Она тут. А толку?»

Через неделю Вера перестала ходить в школу. Просто не

вышла из дома утром. Мама увидела, что она сидит на кухне в пижаме, и спросила:

— Веруль, ты не идёшь?

— Не иду.

— Почему?

— Мам, посмотри на меня.

Мама посмотрела. На живот — плотный, заметный, не скрываемый ничем. Опустила глаза. Молча налила чай. Села напротив.

— Надо ходить, — сказала она тихо.

— Мам, куда я пойду? Они все смотрят. Они все знают.

— Пусть смотрят. Тебе учиться надо.

— Мне надо… — Вера не закончила. Голос дрогнул. — Мне надо просто посидеть дома.

Мама не стала спорить. Вера видела: она хотела — очень хотела — спросить что-то ещё, но не решалась. Или не могла. Или боялась ответа. Мамины руки лежали на столе, и пальцы подрагивали, будто она сдерживалась, чтобы не протянуть их к Вере, не обнять, не прижать к себе, как маленькую. Но Вере уже не нужны были объятия. Ей нужно было, чтобы её оставили в покое. Чтобы никто не смотрел, не спрашивал, не шептал.

Вера стала брать домашние задания по телефону. Звонила одноклассникам — тем, кто ещё отвечал:

— Слушай, а что задали по алгебре?

— А, Вера, привет. Ну, там параграф двенадцатый, номе-

ра с первого по третий.

— Спасибо.

— Вер, ты когда вернёшься?

— Не знаю.

Бабушка пришла на кухню — медленно, тяжело, как идут старики, когда знают, что разговор будет длинным и тяжёлым. Села на свою табуретку, положила руки на стол — сухие, морщинистые, с венами, как корни старого дерева. Посмотрела на Веру поверх очков.

— Внученька, — сказала она. — Я не буду тебе говорить «делай аборт». Я никогда этого не скажу. Но я скажу другое. Послушай.

Вера кивнула.

— Мне было двадцать, когда я родила твою маму. Двадцать — не пятнадцать. Муж был, дом был, война уже кончилась. И то — было тяжело. Ночи без сна, дни без отдыха, руки в трещинах от стирки, спина не разгибается. А тебе — пятнадцать. У тебя нет мужа, нет работы, нет ничего. Только — мы. Я и мама. Мы — есть. Но мы — старые. Мы не вечные.

— Бабуль, я знаю…

— Не знаешь. Не можешь знать. Ты думаешь — сердцем. А надо — головой. Сердце говорит «хочу», а голова должна говорить «смогу ли». Ты сможешь, внученька?

Вера молчала. Она не знала, сможет ли. Она знала только одно: внутри — живое. И отдать — не может.

Бабушка вздохнула — длинно, тяжело, как вздыхают старые люди, которые видели слишком много, чтобы обманываться.

— Ладно, — сказала она. — Родишь. А там — видно будет. Я — с тобой. Пока я тут — с тобой.

Она клала трубку и садилась к окну. За окном — двор, деревья, качели, на которых уже никто не качался, потому что осень, холодно. Ветер раскачивал пустые качели, и они скрипели, как старые часы, которые никто не завёл. Она смотрела на эти качели и думала о ребёнке.

Дома начались разговоры. Тихие, осторожные, на кухне, за чаем, будто не о ребёнке, а о погоде. Но все знали, о чём.

— Веруля, — мама села рядом, положила руку на её колено. — Ты понимаешь, что тебе пятнадцать лет?

— Понимаю.

— Ты понимаешь, что ребёнка тебе не потянуть? Ты сама ещё ребёнок.

— Мам, я не ребёнок. Не после того, что…

Она не закончила. Мама отвернулась. За окном пошёл снег — первый, мелкий, колючий, и мамино лицо в оконном свете стало белым, как стена.

Бабушка ходила по кухне, звеня посудой, и молчала. Потом не выдержала:

— Внученька, люди на тебя как посмотрят? На нас как посмотрят? У нас в семье…

— Бабуль, не надо.

— Надо, внученька. Я старая, я много видела. Ребёнок — это не игра. Это жизнь. Вся жизнь. Ты готова отдать всю жизнь?

— Бабуль, я хочу его. Хочу.

Бабушка села на табуретку, тяжело, будто кто-то подрубил ей ноги. Посмотрела на Веру поверх очков, и в этом взгляде было всё — и жалость, и страх, и усталость, и любовь. Та самая бабушкина любовь, которая раньше грела, а теперь жгла.

— Внученька, — сказала она тихо. — Аборт — это грех. Я никогда не скажу тебе «делай аборт». Но и ребёнка ты не потянешь. Ты это поймёшь. Потом. Когда сама станешь матерью — взрослой матерью, а не девочкой с игрушкой.

— Это не игрушка, — Вера сжала кулаки.

Ребёнок будет. Маленький. Будет расти. Будет качаться на качелях. Будет — жить. Но — где? С кем? Вера не знала. Не знала — но чувствовала: этот ребёнок — единственное, что у неё есть. Единственное — живое, тёплое, настоящее. Всё остальное — мёртвое, холодное, фальшивое. Мама с бабушкой — любят, но не понимают. Школа — не нужна. Друзья — нет. Мир — враждебный. А ребёнок — свой. Кровный. Её.

Однажды вечером, когда бабушка мыла посуду, а мама ещё не вернулась с работы, Вера вышла на кухню и сказала — тихо, спокойно, как говорят о погоде:

— Бабуль, я буду рожать.

Бабушка не обернулась. Продолжала мыть — тарелку за

тарелкой. Вода текла, и в её шуме — было что-то успокаивающее, как дождь. Потом — бабушка выключила кран. Вытерла руки. Повернулась.

— Я знаю, внученька. Я знаю.

— Я знаю, что не игрушка. Но ты пока воспринимаешь его как… как куклу. Маленькую, хорошую, которую можно качать, пеленать. А это бессонные ночи, это крик, это стирка, это деньги, это отказ от всего — от школы, от друзей, от себя. Ты готова?

Вера молчала. Она не знала, готова ли. Она знала только одно: внутри неё — живое. Маленькое, живое, её. И отдать его она не может. Не может — и всё. Эта уверенность была не разумной, не логичной, не объяснимой — она была животной, инстинктивной, как у кошки, которая защищает котёнка не потому, что решила, а потому, что иначе не умеет.

Мама и бабушка решили между собой: пусть родит. А там — видно будет. Ребёнка — в дом ребёнка. Вера — домой. Будет жить как раньше. Забудет. Вырастет — забудет.

Вера слышала этот разговор — через стену, в кухне, когда они думали, что она спит. Слышала и плакала. Беззвучно, в подушку, чтобы никто не знал. Слёзы впитывались в наволочку с вышитыми ромашками, и ромашки темнели от влаги, будто оживали на секунду, чтобы снова умереть.

Глава 11. Девочка

Она ходила по квартире медленно, держась за поясницу. Становилось тяжелее. Живот рос, тянул вниз, спина ныла, ноги отекали. Токсикоз не отпускал: утром — тошнота, вечером — тошнота, от запаха еды — тошнота. Бабушка варила куриный бульон, и раньше Вера его любила, а теперь запах выталкивал её из кухни.

— Внученька, поешь хоть немного.

— Бабуль, не могу. Меня вырвет.

— Надо, Вера. Ты не одна. Ты двое.

Вера садилась, ела через силу, три ложки, и убегала в ванную. Там стояла, обхватив живот руками, и шептала: «Терпи, маленькая. Терпи. Мы справимся». Кому она это говорила — ребёнку или себе, — не понимала.

На УЗИ она ходила одна. Мама не могла — смена. Бабушка не могла — болела спина. Вера ехала на автобусе, сидела в коридоре поликлиники среди беременных женщин — взрослых, с мужьями, которые держали их за руку, — и чувствовала себя чужой. Маленькой. Лишней. Будто она зашла на чужой праздник без приглашения.

Мужья обнимали жён за плечи. Чего-то шептали им на ухо. Смеялись. Одна женщина — полная, с круглым животом и счастливыми глазами — сказала мужу:

— Если девочка — назовём Лизой. Если мальчик — Саш-

кой.

— А если двойня? — засмеялся он.

Вера отвернулась. У неё не было мужа, не было имени для ребёнка, не было никого, кто бы обнял её за плечо в коридоре поликлиники. Только она, живот, и очередь на УЗИ.

Вера встала. Прошла. Легла на кушетку. Холодный гель на животе — и датчик, и на экране — серое, мутное, непонятное. Но врач сказала — уверенно, спокойно:

— Сердцебиение хорошее. Развитие — в норме. Срок — примерно двадцать две недели.

Вера смотрела на экран и видела — ничего. Не понимала. Но слышала — стук. Частый, ровный, как маленькие барабаны. Сердце. Её — сердце. Нет — другое. Маленькое, быстрое, живое.

— Слышишь? — врач улыбнулась. — Это — твоего ребёнка сердце. Бьётся.

Вера кивнула. И — впервые за долгое время — улыбнулась. Не криво, не натянуто — по-настоящему. Будто кто-то открыл окно в тёмной комнате, и в него — хлынул свет.

На втором УЗИ врач сказала:

— Девочка.

— Что? — Вера подняла глаза.

— У тебя будет девочка.

Вера вышла из поликлиники и стояла на крыльце, и плакала — впервые не от боли, не от обиды, а от чего-то другого, непонятного, тёплого, что наполняло её изнутри, как

тёплая вода. Девочка. Маленькая девочка. Такая же, как она когда-то, — с косичками, с бантиками, с бабушкиными песенками по утрам.

Вера стала носить вещи мамы — широкие свитера, которые прятали живот. Бабушкин платок, который повязывала на плечи. Джинсы расстёгивала, потому что пуговка не сходилась. Она смотрела в зеркало и видела, как меняется — не лицо, тело. Живот — круглый, плотный, будто внутри кто-то поселился и занял место, не спрашивая. И этот кто-то двигался — толкался, пинался, ворочался, и Вера вздрагивала каждый раз, и потом — улыбалась. Тихо, сама себе, когда никто не видел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.